

INSPIRIA

КРИСТИАН
БЕРКЕЛЬ

роман

МОЯ 
ДОРОГАЯ
АДА



INSPIRIA

Кристиан Беркель

Моя дорогая Ада

Серия «Novel. На фоне истории»

*Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68821665
Моя дорогая Ада / Кристиан Беркель ; [перевод с немецкого Д.
Сорокиной].: Эксмо; Москва; 2023
ISBN 978-5-04-181300-0*

Аннотация

На дворе середина XX века, Федеративная Республика Германия еще молода, и также молода Ада, для которой все, что было до нее – темное прошлое, открытая книга, из которой старшее поколение вырвало важнейшую главу.

Ада ищет свою идентичность, хочет обрести семью, но сталкивается лишь с пустотой и молчанием. Тогда она решает познать этот мир самостоятельно – по тем правилам, которые выберет она сама.

Романы известного актера и сценариста Кристиана Беркеля «Моя дорогая Ада» и «Яблоневое дерево» стали бестселлерами. Роман «Яблоневое дерево» более 25 недель продержался в списке лучших книг немецкого издания Spiegel, что является настоящим достижением. Книги объединены сквозным сюжетом, но каждая является самостоятельным произведением.

В романе «Моя дорогая Ада» Кристиана Беркеля описывается вымышленная судьба его сестры. Это история о девочке, затем женщине, ставшей свидетельницей строительства и разрушения Берлинской стены, экономического чуда Западной Германии и студенческих протестов 60-х годов. Это период перемен, сосуществования традиционных установок и новой сексуальности. Проблемы поколений, отчуждение с семьей, желание быть любимой и понять себя – все это в новом романе автора.

«Это не биография, но мозаика удивительной жизни, пробелы в которой автор деликатно заполняет собственным воображением». – Munchner Merkur

Романы Кристиана Беркеля переведены на 9 иностранных языков и неоднократно отмечены в СМИ.

Содержание

I. Воспоминания	6
Дневник снов	6
Ложный уход	10
В оке циклона	20
Сначала было братоубийство	28
Комод	30
Грехопадение	34
Сатана	38
Исход	42
Фамилия отца	50
Ушка	56
Другое происхождение	62
Гитлер	72
Жена Лота	77
Голоса	88
Неразлучники	94
Время с Мопп	99
Тутти-Фрутти	109
Конец ознакомительного фрагмента.	111

Моя дорогая Ада Кристиан Беркель

Посвящается Андрею

О, не узнавай, кто ты!
Софокл

Christian Berkel
ADA

Copyright © Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2020

Перевод с немецкого *Дарьи Сорокиной*



© Сорокина Д., перевод на русский язык, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

I. Воспоминания

Дневник снов

Я его потеряла. Маленькой девочкой я писала в нем каждый день. Записывала не только сны. Вообще все, что приходило в голову. А потом однажды, после одного из многочисленных переездов, он пропал. Исчез. Несколько месяцев я искала его повсюду. Перевернула все вверх дном, даже в мусоре порылась. Неужели я правда его потеряла? Или даже случайно выбросила? Во время поисков мне в руки попала свадебная фотография второго брака. Он оказался бездетным и со временем разрушился. Как же часто мне приходилось кочевать, разбивая палатку в новых местах. Одинокий караван. Я и я. И между нами – несколько мест. От расставания к расставанию я теряла себя, и все связи с семьей постепенно стерлись. Осталось лишь ничего. Ничего и несколько пустых чемоданов.

Воспоминания из поздних пятидесятых. Наша с Ушкой игра, развлечение для детей, которое становилось все серьезнее. Одна из нас бросала какое-нибудь слово, другая подхватывала, продолжая нить. Начинала чаще всего моя подруга Ушка.

– Путешествия.

– Париж.

– Лондон.

– Рим.

– Нью-Йорк.

– Чем займешься в Нью-Йорке?

– Буду играть, пойду в актерскую школу, нет, погоди... В школу моделей.

– Такая есть?

– Не знаю. Дальше. Давай, Ада, быстрее, не засыпай.

– Что?

– Чем ты хочешь заниматься?

– Не знаю.

– Неважно, скажи что-нибудь.

– Красивыми вещами.

– Красивыми вещами?

– Да, возможно, модой. Какая-нибудь работа с людьми. Я могла бы моделировать тебе платья.

– Дизайнер?

– А у меня получится? Я же не умею рисовать.

– Человек может все, что захочет.

– Все?

– Все. Итак. Чего ты хочешь?

– Мужа.

– Господи, какая тоска. Они появляются сами по себе. Хотеть не нужно.

– Путешествовать. Везде. В места, где еще никто не бывал.
Есть такие?
– Определенно.

Мы проводили так целые вечера, прыгая с ветки на ветку, а вокруг тем временем вытягивались дома. Берлин стремительно разрастался, серый и уродливый. Возникало ли в пятидесятые чувство, будто чего-то не хватает? Что происходило в той сказочной стране? *Майский жук, лети. Отец – на войне. Мать – в Померании. А Померания – в огне. Майский жук, лети*¹.

Майские жуки летали при любых обстоятельствах. Даже моя мать напевала эту песенку во время уборки. Мы словно шли по мосту и сами того не замечали. Куда? В прошлое? Думаю, прошлого у нас не было. Во всяком случае, все пытались создать именно такое впечатление. Взрослые говорили о нулевом часе. *Tabula rasa*². Не *после нас хоть потоп*, нет, это мы пришли после потопа. Мы выросли среди оставленных нам руин. Большинство этого даже не замечало, потому что не представляло иной жизни. Но я это видела, хоть и не понимала, потому что приехала из Буэнос-Айреса, где не было воронок от взрывов. Там солнце плясало над крышами неповрежденных домов. Германия устала. Она пахла разложением и смертью. Народ молча отстраивал страну заново.

¹ «Майский жук, лети» – немецкая народная песня.

² Дословно – чистый лист (*лат.*).

во. Словно она возникала из ничего. Словно до нулевого часа здесь вообще не существовало жизни. Даже майский жук из песни освободился от воспоминаний и отбивал своими крылышками ритм будущего. Никто не говорил. Все делали вид, будто ничего не было. Но тупой страх, что это может повториться вновь, напоминал: что-то все же произошло. Этот страх стал нашим приданым. Мы таскали его с собой в поисках отдушины. Но уплотнители сломались. То, что кипело внутри, вылетело однажды наружу и разлетелось во все стороны.

Ложный уход

Когда наконец снова увидела брата, он был на сцене. Он стоял наверху, я сидела внизу. Шекспир, «Мера за меру». Название подходящее. День тоже, хотя я еще об этом не знала, когда читала в программке актерский состав. Было 9 ноября 1989 года.

Когда он появился, меня испугали покрашенные в соломенный цвет волосы. Он стал похож на нашу мать? Стал актером, чтобы прятаться за бесчисленными масками? Как она скрывалась за париками, постоянно меняя цвета? Мы не виделись пять лет. Пять. Это долго. Он постарел. Я, наверное, тоже, но мы предпочитаем замечать эту истину на лицах других людей. В общем, он стоял на голове и бил ногами по воздуху. Зрители хлопали и орали – они твердо решили развлечься.

Мне недавно исполнилось сорок четыре, и, вопреки семейной традиции, я бываю в театре нечасто. Меня вообще не сильно интересует вся эта культурная шумиха. Я отсутствующим взглядом пялилась на сцену.

Впереди, с края, сидел толстый маленький актер, чье узкое лицо и лысеющая голова напомнили мне отца. Он выдал какую-то злободневную политическую шутку. Потом встал, сделал несколько шагов вглубь сцены, на мгновение остановился и после неожиданной, многозначительной паузы вновь

повернулся к публике. Позднее я узнала, что актеры называют это «ложный уход» – прием позволяет привлечь больше внимания к последующей реплике.

– Дамы и господа... Дорогие зрители... Границы открыты. Никто не отреагировал.

– Это не шутка, дорогие зрители... Дамы... Господа... Стена... Стена пала... Об этом только что сообщили по телевизору.

«По телевизору, ну просто умооора!» – воскликнула бы сейчас моя мать, если бы сидела рядом, но ее не было. На мгновение мне показалось, что я даже скучаю. Все изменилось в день, когда я во второй раз вышла замуж. Моя первая свадьба была в семидесятых – ошибка, короткая и безболезненная, словно облачко на горизонте. А потом дешевые часы «Чибо» стали стартовым сигналом к нескончаемому расколу и постоянному росту ветхозаветной силы. Это было пять лет назад, и стена пересекала наш город уже двадцать восемь лет. Когда девятилетней девочкой я впервые неуверенно ступила на эту землю, отвыкнув от твердой почвы за три недели плавания из Буэнос-Айреса, Берлин был еще не разделен, но уже разорван. Отечества нет. Не об этом ли мы молчали последние пять лет? В тишине раздались неуверенные аплодисменты. Похоже, люди начали осознавать. Стена пала.

После спектакля я с гулко бьющимся сердцем пошла искать проход за кулисы. Это напомнило мне о служебных и

черных ходах в разных отелях по всему миру, где я работала, пока не пришла к нынешнему занятию. Я прошла мимо шлагбаума, пересекла парковку и едва успела отскочить в сторону, чтобы меня не переехал белый «Мерседес», промчавшийся мимо. Не успев до конца прийти в себя, я сделала несколько шагов к застекленной будке сторожа. Я терпеливо ждала брата среди нескольких робких фигур. Я старше и должна сделать первый шаг, это моя обязанность перед собой и перед нашей историей.

– Он давно уехал. Судя по тому, как долго вы здесь стоите, вы должны были его встретить. Белый «Мерседес», 124-й. Вечно гоняет как оглашенный.

Как отец, подумала я. Возможно, я его не узнала, потому что он был в шляпе или в кепке. Тоже как отец. Все в нем напоминало моего, нашего отца. Возможно, именно поэтому я так тяжело переносила его присутствие? По одному я тосковала, а другой застал врасплох? И оба разочаровали? Снова упущенная возможность?

– Не знаете, куда он поехал?

– Я сторож или нянька?

Как я люблю берлинское дружелюбие. Сразу становится ясно, где ты находишься и к тому же получаешь бесплатный урок.

– Да не расстраивайтесь вы так. Он там, где все остальные.

– Где же?

– Дитя мое, вы что, ослепли?

Он показал на экран маленького телевизора, висевшего у него над головой. Я уставилась на мелькающие кадры. Люди на Берлинской стене! Из выпускавших голубоватую дымку «Трабантов» сверкали глаза. Оглушительный стук, крики, ликующие возгласы. Пограничный пункт на Инвалиденштрассе. Мне нужно туда.

– Меня уже давно никто не называет дитя, – сказала я и прыгнула с лестницы, задаваясь вопросом, сияют ли и мои глаза.

Было свежо. Даже холодно. Очень холодно. Я тряслась, сидя в такси.

– Девушка, вы чего дрожите?

От дитя к девушке – интересно, что еще готовит мне нынешний вечер. Худощавый водитель угрюмо отыскал в зеркале заднего вида мое лицо. Наши взгляды ненадолго встретились, а потом я увидела в соседней машине взволнованно жестикулирующую парочку. За ними сидели две подруги. Все весело болтали, словно ехали на рок-концерт.

– Господи, не, ну каков театр. Как бы мою колымагу не поцарапали.

У меня не возникло вопроса, родился ли он в этом городе. Мой отец тоже был настоящим берлинцем. Когда мы приехали из Аргентины, я не понимала этого странного бормотания. Отец пытался говорить на литературном немецком. Ради него я отказалась от родного языка и выучила немецкий

на новой родине.

– Даже не верится! Рассказать, как я перемахнул, в смысле перебрался через границу? Вы-то сами небось из Вессиланда.

– Вы имеете в виду Западный Берлин?

– Западный Берлин? Верно. Не, тут просто Берлин, Западного Берлина не существует, так говорят только зонис.

– Кто?

– Ну, зонис, из Восточной зоны. Да, вы точно из Вессиланда, с Запада, сразу ясно. Даже по одежде. Я тогда постараюсь выражаться литературнее, чтобы вы лучше поняли.

Берлинцы не просто знают все, они знают все лучше всех остальных.

– Большое спасибо, очень любезно с вашей стороны.

– Да ладно, пустяки. Ну, как я сказал, – игриво продолжил он, – я втиснулся под скамейку. Думал, задохнусь. Но оно того стоило. Лучше быть мертвым, чем красным. Стена застала меня врасплох. Накануне вечером я еще был в гостях у подруги, в Панкове, мы прекрасно проводили время, и все такое, а уже на следующее утро, да, поставили ее, конечно, с бешеной скоростью, никто глазом моргнуть не успел. Тяп-ляп, и готово. Антифашистское укрепление, или как там ее называли. Я проснулся слишком поздно – кто рано встает, тому бог подает, а я свое будущее проспал. До сих пор помню, как стоял там несколько часов спустя, никому не нужный. Я... Нет, серьезно, я почувствовал себя макакой в клет-

ке, понимаете, о чем я? Ничего не помогало. С первого же дня я думал только о том, как оттуда выбраться. Но все оказалось не так просто. И я принял единственно верное решение. Рот я держал на замке – даже ближайшие товарищи ни о чем не подозревали – и залез под заднее сиденье колмаги шефа, который, разумеется, ничего не знал и выглядел на границе совершенно невинно, а на первой же заправке меня и след простыл. Боже, как я был счастлив. На востоке мне разрешили учиться как рабочему, а здесь диплома не признали – ну и ладно, подумал я, плевать, буду таксовать. И что вы думаете, я разжился двумя домами, обе дочери в университетах – одна учится на ветеринара, вторая на юриста – чего еще желать? Да. А теперь? Когда они приедут, нам всем мало не покажется, скажу я вам. Мало не покажется. Идите, прогуляйтесь по улицам Восточного Берлина. Эти люди бросятся вам в объятия. Но подождите несколько недель, и все будет выглядеть совершенно иначе. Они явятся сюда и наложат лапы. Ясно как день. Эти ловкачи своего не упустят.

Странно, подумала я – бывший беженец чувствует угрозу со стороны последователей. Стена сыграла ключевую роль и в моей жизни. Не сама стена, а день ее постройки. 13 августа 1961 года стало началом катастрофы. До этого я жила, но с того момента – выживала. Как и моя мать. Хотя я и страдала от этого, будучи ребенком, юной девушкой и женщиной, я замечаю, что становлюсь все сильнее на нее похожа. Она преследует меня во снах, и с ней приходит страх проснуться

такой же, как она. Угасшей. Лучше выпрыгнуть из окна. Но сначала нужно еще кое-что сделать. Не хочу оставлять после себя беспорядок.

– Ну, девушка, мы на месте. Ближе не подобраться. Стоят стеной. Видите? Я всегда чувствую как-то по-особенному, стоит только приблизиться к этой штуке. И пусть ее разбирают хоть трижды, пока я жив, я в эту идиллию не поверю. Может, это просто дешевая уловка, чтобы нас объединить. С вас семнадцать пятьдесят.

– Вот двадцать.

– О! Черт побери. Благодарность от фирмы.

Я кивнула и вышла. Длинные ряды тесно припаркованных машин извивались в ночи. Ветер дул на восток. Здесь было тихо. Я надела неподходящие туфли. Постепенно я начала понимать: мой театральный наряд выглядит слишком нарядно. Фифа с запада явилась на каблуках на восток. Когда я проходила последние сто метров, слышались радостные крики. Мне навстречу вышли первые опьяненные радостью гости с востока. Уже во второй раз я стала свидетельницей исторических мгновений, хотя нет, третий, четвертый, пятый или шестой. В первый раз мне не повезло. Но сегодня Берлин перестал быть Берлином. Ни одного хмурого лица – две половины города рухнули навстречу друг другу. Любовный экстаз, чувственный порыв.

Я побежала к мосту Сандкругбрюке. И твердой походкой ступила на тонущий корабль. Правящий бургомистр Запад-

ного Берлина стоял на стуле. Вальтер Момпер приветствовал людей в мегафон, а чуть дальше расположился предыдущий бургомистр, Эберхард Дипген, которому не удалось воспользоваться ситуацией. Никто не обращал на него внимания. Немного напоминает нас с младшим братом, подумалось мне. На стуле всегда стоит только один, и мегафоном размахивает тоже только один.

Опустив голову, я побежала дальше. Вокруг все плыло, но не увлекало. Я надеялась почувствовать сопричастность, не хотела быть фифой с запада, девицей на каблуках. Я видела открытые взгляды людей и могла к ним подойти. Но ощущала себя девятилетней девочкой из Аргентины, которая не понимает их приглашений.

В нескольких сотнях метров, чуть поодаль от реки, стояли компании – люди пили шампанское прямо из бутылок и смеялись. Иначе, чем у нас, подумала я, совершенно иначе. Я сняла туфли и спрятала их в карманы пальто.

– Извините, мне хочется где-нибудь выпить, не знаете, где здесь ближайшая пивная?

Девушка со светлыми локонами взглянула на меня с любопытством. Я на мгновение задумалась, что именно привлекло ее внимание – духи или одежда. Без туфлей я, вероятно, смотрелась чуть презентабельнее, но возможно, от меня совершенно иначе пахло. Много лет назад мне говорил об этом дедушка, когда я приезжала в Веймар к нему и его жене Доре. «Запад пахнет иначе, – сказал он тогда. – Этот

чистый, многообещающий аромат – наша главная проблема при постройке социализма». Расстроился бы он, если бы видел нас сейчас?

– Нет, все закрыто.

И только тогда я заметила, что здесь все погрузилось во тьму, хотя на западной стороне горят огни. Дело не только в запахе, но и в свете. В детстве я думала, что кто-то выключает свет. Тогда солнце не могло светить так ярко, как в Буэнос-Айресе, – или ему не позволяли. А теперь?

– Хотите глоток?

Она протянула бокал с шампанским прежде, чем я успела кивнуть.

– Безумие.

Она внезапно бросилась мне на шею.

– Безумие, – повторила она и со смехом поцеловала меня в щеку. Я испуганно пожелала ей счастья и побежала дальше.

Мне вспомнилась сцена из только что увиденной пьесы. Главная героиня, Изабелла, пришла к наместнику, чтобы попросить об освобождении приговоренного к смерти брата. Вы могли бы простить его, умоляет она. Раз не хочу я, значит, не могу, отвечает он.

Раз не хочу я, значит, не могу. Фраза прокручивалась в моей голове бесконечно. Это правда? Воля действительно так тесно связана с возможностями? Я остановилась. Готова ли я сама простить? Этот вопрос не давал мне покоя весь вечер. Неужели я действительно пыталась убедить себя, будто

купила билет на выступление брата совершенно случайно? Я, которая почти никогда не ходила в театр? В таком случае и стена упала случайно.

Два с половиной часа спустя я снова оказалась на другой стороне. На западе. С нынешними переменами такого разделения скоро не будет, подумалось мне. Забавная история. Напоминает мою семью. Сначала залить разорванную, зияющую рану бетоном, а потом снова все разрушить. Сделать из старых ран новые. Так продолжаться не может. Мне нужна помощь. Вокруг все обнимались. Ликовали. Кричали. Раздавали бананы из большой корзины. Пьяные спотыкались друг о друга. И там был он. Мой брат. В самой гуще. У него светились глаза. Его тоже приветственно хлопали по плечу.

– Ну? Наконец бананы, да? – закричал кто-то.

Он оцепенело кивнул? Словно приехал оттуда? Посмотрел в мою сторону? Я должна подойти к нему? Ноги горели от холода. Я быстро надела туфли и споткнулась.

В оке циклона

Спустя неделю после того, как я увидела брата в театре, я решилась позвонить.

– Думаю, ничего особенного. Мне нужно... нужно немного поговорить. Как это называется? Разговорная психотерапия?

Три дня спустя я сидела в маленькой комнатке со старыми персидскими коврами на полу и стенах. Что дальше? По телефону голос показался мне неприветливым. Человек на другом конце линии не имел ни малейшего представления, насколько трудно мне было набрать его номер. И теперь я сидела перед ним, уставившись ему в глаза. Бдительный взгляд напомнил мне деда.

– Да, в общем... Теперь я даже не знаю, что говорить, откуда... С чего начать.

– С чего хотите, это ваш час.

Ага, мой час. Ну хорошо.

– Я... В общем, пять лет назад я разорвала связь с семьей. Я... эээ... Причина была чисто внешняя... Сейчас это даже как-то смешно звучит... Это были часы «Чибо»... Знаете, такие дешевые... Их еще продают в этих магазинах...

– В магазинах-кофейнях.

– Да. Я... ох... Мы хотели пожениться, мой муж и я... Идея возникла относительно спонтанно. Просто так, в неко-

тором смысле. Вы меня понимаете?

– Не совсем.

Нет. Хорошо. Значит, у нас есть что-то общее.

– Итак, мои отношения. У меня всегда их было довольно много, да... Даже не знаю, можно ли назвать это отношениями, но, по крайней мере, мужчин... Скорее, постельных историй... Интрижек. Да, именно так. Не больше.

– Но с мужем все было иначе.

– Я должна сейчас об этом рассказывать?

– Попробуйте.

– Вообще-то я пришла сюда, потому что не могу спать.

– Вероятно, мы сможем выяснить, есть ли тут связь.

– С чем?

– Возможно, с разными вещами.

– Да, может быть. Я, эээ... Думаю, я не очень люблю разговаривать, понимаете?

Ему тоже нечего сказать? Эти паузы. Просто невыносимо.

– Я... По работе занимаюсь совершенно другим.

– Кем вы работаете?

– Я работаю с глухими.

– Что именно вы делаете? Работаете в специальном заведении, в школе?

– И там тоже, иногда. Обычно я работаю с детьми и подростками, глухими с рождения по генетическим причинам.

– Вы объясняетесь на языке жестов?

– Да, и в сотрудничестве с отоларингологом пытаюсь вы-

яснить, что можно сделать. Определить, непоправим ущерб или шансы еще есть. Неважно, насколько они малы...

– Чем занимаются ваши родители?

– Отец – отоларинголог.

– Отоларинголог?

– Да.

– А мать?

– Домохозяйка. Но уже несколько лет помогает отцу. Обучает учеников, ну то есть не прямо обучает, но помогает им с училищем и... Ученики в основном еще совсем молодые, лет по шестнадцать. Раньше она была переводчицей. До этого – воспитательницей. То есть наоборот. А, неважно. Я смешала все в одну кучу. Все было довольно сложно... Наша жизнь. А когда родился брат, она стала сидеть дома. Наверное, чтобы получилось лучше.

– Что?

– Ну, воспитание.

– В смысле – лучше?

– Ну не знаю, лучше, чем со мной, наверное.

– Вы считаете, ваша мать испытывала из-за вас чувство вины?

– Понятия не имею. Хотя вообще-то нет, не думаю. Возможно, так получилось случайно.

Почему он так странно смотрит? Я сказала что-то не то?

– Да. В общем, я тогда вышла замуж, и... Все повели себя довольно опрометчиво...

– Ваши родители были против?

– Да, но нет... Не совсем...

Что еще сказать? Этого недостаточно?

– Ну да, было другое время... Да, совершенно другое время. Мы хотели... 1984 год. У нас родилась сумасшедшая идея, совершенно спонтанная, мы просто побежали в загс, большего нам не хотелось. У каждого за плечами уже был неудачный брак, и... Поэтому мы решили обойтись без празднований, без всей этой кутерьмы, и... Ну да, вышло нехорошо, мы никого не хотели приглашать, хотели отпраздновать вдвоем... Только мы и те, кто случайно позвонил нам прямо в тот день.

– Семья не смогла принять ваше решение?

– В целом, можно сказать и так... Вернее, родители. Брату, думаю, было все равно, но мать...

Проклятье, почему мне так тяжело говорить, это же не причина для слез. Соберись, все давно позади.

– Воспоминания еще очень свежи.

– Да.

– Что произошло?

– В тот день? Не знаю... Я написала им за несколько дней... И в письме попыталась объяснить, что не имею в виду ничего личного и...

Теперь он молчит. Ничего не говорит. Наверное, он тоже не в восторге. Дочь выходит замуж и не приглашает собственных родителей. Трагедия. Так считают все.

– Я считаю, вернее, всегда считала, что у меня было прекрасное, то есть хорошее детство, наверное, так думают все, ну, может, не все, но многие, каждый раз слушаешь и удивляешься...

– Да, бывает.

– Что удивляешься?

– И это тоже.

– Ну да, удивляешься и думаешь: разве у него или у нее было счастливое детство? Не слишком похоже. Это как с браками, когда люди говорят, что у них счастливая семья.

– А как выглядит человек с хорошим детством?

Ха. Отличный вопрос. Как же он выглядит? Во всяком случае, у него есть чувство юмора.

– Наверное, иначе, чем я. Вечером, когда мы поженились, точнее говоря, уже были женаты, *post actum quasi*³, как сказал бы мой отец... Зазвонил телефон. Хотя нет, извините, это произошло на следующий вечер. У нас был гость. Друг мужа, вернее, моего тогдашнего мужа, брак долго не продлился, все оказалось ошибкой, опрометчивым решением, мы развелись уже через год... Звонила мать, спрашивала, понравился ли нам подарок... Ее подарки... Наручные часы «Чибо» для моего мужа, вернее, уже бывшего мужа, и дешевая цепочка за несколько марок из супермаркета для меня. Пожалуй, и правда стоило сохранить их на память, но мы сразу выбросили это барахло. В общем, когда она с наигранной невинно-

³ После действия (уже свершившийся факт, *лат.*).

стью задала этот вопрос... Я вспылила, а потом отец вырвал у нее трубку и заорал, что я себе возомнила... Что я понятия не имею, я не знаю, в каких муках меня рожала мать, и так далее... А потом я начала его оскорблять... Вывалила все, что возможно, все, что хотела сказать всегда, все разом вышло наружу, я так кричала, что потом три дня была совершенно разбита, не могла произнести ни звука, даже хрипеть, выходил только горячий воздух... А потом на другом конце линии повисла тишина... Мертвая тишина... В какой-то момент я даже подумала, что у него случился инфаркт, что я убила собственного отца. Если он вообще мой отец, но это уже другая история. Вся эта чушь про Эдипа. Женщин она тоже касается?

– Мы сейчас говорим про вас, а не про теорию Фрейда.

Да, это он красиво сказал, речь обо мне, ну ладно, хотя, конечно, забавно: человек может находиться в центре теории, как в оке циклона, и ничего не осознавать.

– Не переживайте, за мать я выходить замуж не собираюсь и никогда не хотела, определенно нет, даже неосознанно.

– Рассказывайте.

Ну хорошо, тогда я расскажу ему все. Всю проклятую историю моей жизни. Вплоть до Вудстока. Вплоть до часов «Чибо». Все. Безжалостно. Начну с самого начала, с Буэнос-Айреса, расскажу про близнецов и про их родителей, Мерседес и Германа, про фотографию из комода, про капитана и его кнут, про сестер в Ла Фальде, про солнце и чи-

бисов и про то, каким здесь все было серым, когда мы приехали, и какое все серое до сих пор, и что все здесь гораздо больше пекутся о собственных лужайках, чем о возможности подарить кому-то улыбку, потому что в этой глупой стране вообще ничего не дарят, даже детям, потому что они ненавидят детей и жиреют, молча залезают в свои металлические машины, молча ездят на работу, молча возвращаются домой, молча черпают ложкой суп, молча идут спать, чтобы напиться субботним вечером и болтать без умолку, как при словесном поносе, словно вся чушь, которую они молча проглатывали целую неделю, выливается у них изо рта и течет из ушей. Молчание, молчание, всюду молчание, ничего, кроме молчания. Почему говорить должна именно я? О чем? Об их молчании?

– Если хотите, я с радостью помогу. Я бы предложил начать с частых встреч. Четыре раза в неделю. Что скажете?

– Четыре раза в неделю? И неважно, о чем мы будем говорить?

– Да, – ответил он.

– Хорошо. В смысле, да, я... С удовольствием.

– Тогда со следующей недели приступим. И еще. Во время лечения по возможности следует избегать серьезных жизненных изменений.

– Хорошо. Сколько понадобится времени?

– Давайте сначала начнем.

Уже в дверях он протянул мне руку.

– До понедельника.

– Да, до понедельника. Спасибо.

Наконец улыбка. Он и правда похож на моего дедушку.

Сначала было братоубийство

Все началось с крика, и для меня тоже. Меня зовут Ада. Я родилась прямо перед концом войны, в феврале 1945-го, в Лейпциге. Когда Германия наконец была повержена. Во время родов моя мать чуть не погибла от потери крови. Гинеколог, старый профессор-нацист самого дурного сорта, вырвал меня щипцами через двадцать шесть часов – словно она не хотела меня отдавать. «Настоящая пытка, будто по мне грузовик проехался», – рассказывала она.

На самом деле подобные выражения нетипичны для женщины из хорошей семьи – возможно, причина крылась в тоске по моему отцу, который все еще оставался в русском плену, а после возвращения отказался приезжать в Аргентину, куда мы эмигрировали после войны. Мой отец «с задворок Кройцберга», говорила она, и в зависимости от интонаций это звучало восхищенно или презрительно. В общем, грузовик. Грузовик этот ехал в дрожащий от холода и голода мир, и был мной. Но потом появилось кое-что еще. «Плоский, как бумага», – изумленно крикнула акушерка нацистскому профессору. Бумагой оказался мой погибший близнец. Его пол определить было невозможно.

Возможно, меня лишил дара речи подобный старт? Был ли мой крик победным, потому что я избавилась от конкуренции еще до рождения, в материнской утробе? Возмож-

но, я разрешила древнейший конфликт человечества – братоубийство – еще до начала? Не знаю. Я ведь даже не знаю, был ли это брат или сестра.

В любом случае в первые годы жизни я не хотела разговаривать. Предполагается, что я очень рано начала понимать все сказанное, «нооо», как не устает подчеркивать мать, я наотрез отказывалась повторять за ней любые слова. Это оказалось для нее большим ударом. В конце концов, ее дядя в нежном возрасте двадцати семи лет возглавил специально созданную для него кафедру нового предмета в берлинском университете Гумбольдта, ее отец лично знал Зигмунда Фрейда и проводил психоанализ Герману Гессе, ее еврейка-мать была психиатром и смогла пережить отца, мать и Франко, испанского генералиссимуса. Лучших предпосылок и не придумаешь. «Просто период», – говорит она теперь. Но я с самого начала оказалась разочарованием, самым худшим позором. Я, дитя невообразимо огромной любви, любви, которая оказалась сильнее войны, Бога и даже маленького австрийского художника, ефрейтора с забавными усами над верхней губой – Гитлера. И это дитя, то есть я, не могло или не желало говорить. Видимо, я не хотела утруждаться – по крайней мере, так казалось матери.

Комод

Он стоял в нашей маленькой спальне и казался особенно притягательным. Комната, где мы жили в Буэнос-Айресе, нам не принадлежала. Владельцами были немисливо богатые супруги из Аргентины, ее звали Мерседес – да, как немецкий автомобиль, – а его Герман, и нет, это не означает «немец», это просто испанский вариант имени Херманн. По совпадению – если верить в совпадения – оно совпадает со второй фамилией моего отца, которого зовут Отто, Отто Херманн, но об этом позже.

Почему мы переехали из Германии, я не знала, на тот момент мне было два года. Одним жутко холодным зимним днем мы сели на большой корабль и несколько недель спустя причалили в Буэнос-Айресе, где сияло летнее солнце. Это определенно напоминало перемену к лучшему. Сначала. Вскоре мать нашла работу – воспитывала двух избалованных паршивцев, близнецов, которые не смогли придумать ничего лучше, кроме как с утра до вечера выказывать надо мной превосходство. Я была уже вполне готова заговорить – хотя бы из-за неописуемых усилий матери. Она мастерила карточные игры, лепила из мокрых газет кукол и проводила со мной любую свободную минуту, во всяком случае, сначала. Но я очень быстро поняла: мое молчание – единственное эффективное оружие в борьбе с близнецами. Они начали меня

бояться и называли ведьмой. Когда они пытались меня избить или раздеть, чтобы унижить, я внезапно начинала из всех сил кричать. И брала такие высокие ноты, что они испуганно убегали.

Итак, мы жили во дворце, но в нашем распоряжении была лишь крошечная комнатка. Мы относились к обслуге, обслуживающему персоналу. А поскольку рассматривать в этой комнате было особо нечего, я сосредоточила все внимание на комод. *C'était mon caprice*, он стал моей прихотью, если говорить по-французски – этот язык, как и родной испанский, кажется мне менее конфликтным, чем немецкий, который я выучила гораздо позже. Кроме того, по-французски все звучит элегантнее, это помогло мне преодолеть «комплекс низшего класса», хотя его у меня не должно быть вообще, ведь я происхожу из хорошей семьи – во всяком случае, со стороны матери. Но разве мы зачастую не кажемся тем, кем меньше всего являемся?

Комод этот, громоздкий представитель эпохи аргентинского барокко, сам по себе особого интереса не представлял – в отличие от содержимого. Он был святилищем, и безнаказанно открывать его не позволялось никому, что привлекало еще сильнее. Мать часто молча сидела возле него, погрузившись в письма, а потом прятала их обратно в верхний ящик или меняла на старые фотографии. На одном снимке на темно-сером фоне стоял молодой человек со спокойным лицом. Она сказала – мой отец.

Я знала его только по этой довольно потрепанной и вдобавок нечеткой фотографии. Я никогда его не видела, никогда не слышала его голоса, и в глазах остальных, особенно близнецов, я была внебрачным ребенком из чужой страны, чья мать по никому – и в первую очередь мне самой – не известным и не понятным причинам переехала в Аргентину. Ребенок, который не умел говорить и, что гораздо хуже, не был крещен, а значит, не исповедовал католическую веру, в отличие от любого другого ребенка в этой стране. С матерью, которая действовала всем на нервы, потому что была истинной немкой, потому что всегда хотела делать все правильно, потому что у нее не было денег и она зависела от благосклонности окружающих. Больше я о своем происхождении ничего не знала.

Второй ящик был еще загадочнее. Там мать прятала нижнее белье. Ее трусы отличались от моих лишь размером, но рядом лежало кое-что, вызывающее большой интерес. То, чего не было у меня, то, что я не могла носить – из-за абсолютной бессмысленности. Казалось, мое маленькое тело для этого не подходит, «пока нет», как со смехом сказала мать, закатив глаза. Она не заметила, насколько мне запали в душу ее слова. Необычный предмет состоял из двух корзинок, в которые мать каждое утро укладывала грудь. Я думала, что когда-нибудь у меня тоже будет грудь, но пока была лишь *маленькой женщиной: сеньоритой*. Я поняла смысл этого слова гораздо позднее, но в отличие от мальчиков мы, девочки, бы-

ли не девочками, а маленькими женщинами и потому стремились поскорее вырасти – ведь маленькая женщина, строго говоря, и не женщина вовсе. А поскольку она и не девочка – она никто.

Когда матери не было дома, я надевала корзинки, засовывала в них яблоки или апельсины, завязывала сзади концы и гордо расхаживала перед зеркалом. Краткие мгновения тайного счастья, любопытство, за которое мне вскоре пришлось дорого заплатить.

Почему мать пряталась от меня каждое утро и каждый вечер, когда одевалась и раздевалась? Иногда мне все же удавалось мельком увидеть, как груди выскальзывали из корзинок или засовывались обратно, словно были бременем. Возможно, подумала я, стоит повременить со взрослением. Я решила повнимательнее присмотреться к окружению.

Грехопадение

Вскоре я научилась мыть себе попу. Попа – то, что идет от маленькой прорези спереди до большой прорези сзади, объяснила мать. В обеих прорезях были дырочки, до которых нельзя дотрагиваться, и все называлось одним словом: попа. Одна попа делала одно, другая другое, но, по сути, одно и то же и всегда немного «фу». Позднее мы с подругами решили, что наши матери не хотели произносить другое слово, словно его не существовало – ведь если чего-то не существует, то для него и слова быть не может, верно? Уже потом, в школе, когда мне было шестнадцать или даже больше, слово все же появилось: «вагина» или «влагалище». Это звучало немного воодушевляюще. Чтобы мальчики говорили о «пенисе», я тоже никогда не слышала – даже на уроках биологии. Мать всегда говорила об этих вещах со строгостью. Кроме того, похоже, она считала, будто я понимаю все ее слова, и часто заканчивала предложения фразой: «Прааавда же?» Я ничего не знала о правде, но мне нравилось мыть прорези. Это было здорово.

С невинным любопытством – Впрочем, наверное, любопытство никогда не лишено вины, во всяком случае, в католической стране, – и потому скорее даже мечтательно однажды утром я зашла в прихожую хозяйской спальни. В открытые окна светило жаркое солнце. За приоткрытой дверью

двигались тени Мерседес и Германа. Их голая кожа блестела от влаги, они стонали, и вдруг Мерседес издала хриплый крик боли и на одно бесконечное мгновение посмотрела мне прямо в глаза. Я замерла. Она что, умирает? И если да, что мне делать? Куда идти? В нашей комнате спала мать, ее будить нельзя. Я в страхе побежала в туалет, сняла трусы, села на край белой ванны и крепко зажала руки между тонкими бедрами, где-то рядом с дырочками. Дверь распахнулась. Одна рука схватила меня за шею, другая вытащила пальцы из прорези. Я закричала.

Я не понимала брошенных мне слов. Заскулив, словно маленькая собачка близнецов, я забилась за унитаз. Передо мной стояла бледная Мерседес. Она кричала и плевалась. Раз за разом в меня плевалась. В ушах застучало сердце, и когда я снова вскочила, то ударилась головой об раковину. Горячая вода потекла по волосам, обжигая лицо. Потом стук замедлился, затихая, меня бросало то в жар, то в холод, пока все вокруг не слилось в равномерный шум. Я попыталась вздохнуть, но теперь вместо воздуха в легкие лилась вода — с тех пор у меня возникло некоторое отвращение к воде в любой форме. Я снова почувствовала железную хватку Мерседес. Потом у меня внутри раздался громкий, настойчивый стук, будто кто-то ломился в дверь. Я пыталась вырваться. Билась и брыкалась. Но это не помогало, я становилась все слабее, пока не расслышала слабый крик матери. Я выскользнула из рук Мерседес и сильно ударилась об пол. Что сочи-

лось по лбу? Я не чувствовала ни боли, ни печали, ни страха, ни стыда. Я больше вообще ничего не чувствовала, и от этого небытия было хорошо.

После этого все изменилось. Мерседес и моя мать перестали разговаривать, но, что еще хуже, мать почти перестала разговаривать и со мной. Иногда она брала меня на руки или сажала к себе на колени, но следила, чтобы я держала ноги сомкнутыми. Отводя взгляд, она избегала любых движений – никакого любимого мною покачивания. Однажды я схватила ее за подбородок. Мы посмотрели друг на друга с удивлением. Время вздулось, как мыльный пузырь, растаяло и лопнуло.

Воскресенья мы проводили в церкви. После службы мать скрывалась в исповедальне. Бродя в одиночестве, я заблудилась в задней части часовни. И испуганно остановилась в небольшом скрытом от посторонних глаз своде. Погруженная в темноту, словно доступная лишь посвященным, там стояла деревянная скульптура Богоматери с сыном. Иисус пытливо смотрел на мать, Мария отвернулась. Получается, мать правильно делает, что больше не смотрит мне в глаза, – Богородица тоже не смотрела на своего ребенка. Но это все равно ранило, и я обижалась на мать.

Через несколько дней мы со священником торжественно встали друг напротив друга. Мрачно бормоча что-то себе под нос – вероятно, молитву, он плеснул мне на голову святой водой.

– Теперь ты христианка, – сказала мать.

Я не понимала, что это значит, но, похоже, мать этим гордилась, и я подумала, она гордится и мной. Совершенно новое, возвышенное чувство.

По вечерам она читала мне Библию. Так я познакомилась с историей о дьяволе: как бедный ангел, упавший с небес, ввел людей в искушение, чтобы отомстить Богу. Я так жалела бедного ангела, что начинала громко плакать – к большому раздражению матери. Думаю, она впервые порадовалась моей немоте. Сложно вообразить ее разочарование, узнай она, что бедный дьявол мне милее доброго Бога, которого я вообще не могла представить – знала только, что он отец, а значит, каждый отец тоже бог, строгий бог, который может за любую мелочь выгнать с небес.

Вскоре мы перестали посещать семейные воскресенья. Как я подозревала, по моей вине.

Нет дня без ночи, без дьявола нет Бога. Конструкция неизменна.

Сатана

Новым работодателем матери стал строгий человек, капитан. Жизнь с ним оказалась еще безотраднее, чем с близнецами. Здесь я была уже не ведьмой, а просто дочерью уборщицы, и мне полагалось опускать голову, когда капитан проходил мимо. Днем мать прятала меня от его глаз. Оставшись одна в комнате, на кровати, я ложилась на живот, сгибала ноги, хваталась руками за ступни и ритмично раскачивалась. Чем сильнее напрягалось тело, тем становилось приятнее. В ушах шумело, пробежавшие по телу волны становились все длиннее, пока я не останавливалась и не начинала снова – сначала мягко, потом все сильнее, вверх и вниз и снова вверх до головокружительной высоты, пока не приоткрывался рот. Я замирала, прислушивалась к себе, неосознанно вертела тазом, сначала медленно, потом все быстрее, все сильнее сжимая между ног подушку, и в полной неподвижности напрягала тело, пока оно не начинало дергаться и меня не охватывала дрожь. Потом я лежала неподвижно.

Я забывала о происходящем вокруг лишь в эти моменты близости с собой и потому навевалась в спальню часто, как только могла. Мое тайное занятие было дурным, я понимала, но поскольку отец к нам приезжать отказался – как рассказала мать, я тоже могла стать дьяволом, если еще не стала.

Однажды, когда я вернулась в спальню, на кровати лежала кукла, подаренная Мерседес. Я легла рядом и стала думать о Мерседес и Германе, а еще о матери и о мужчине с фотографии из комода, то есть о Боге. Я действительно дьявол. Теперь это было ясно, ведь я чувствовала, какую чертовскую радость мне доставляет над ним издеваться, делать запрещенные вещи, которые прямо сейчас, у него на глазах, превращали меня под его строгим взглядом в настоящего дьявола. Дьявола, который даже тайно не желает снова стать ангелом. Осторожными движениями я обхватила куклу. Я не слышала приближающейся фигуры, не видела, как пролетел по воздуху хлыст, только почувствовала удар молнии. Мое тело содрогнулось от шока, когда последовал новый удар. Вот оно, наказание: Бог следовал за мной по пятам, заставляя почувствовать его силу. Я обернулась, попыталась закрыть треснувшую кожу руками. Темная фигура схватила меня, подбросила в воздух, и я рухнула на пол. Ну все, подумала я, конец. Мне пришлось уехать. Так приказали.

Меня отдали в монастырскую школу. За нами следили строгие женщины. Как и крестивший меня священник, они были связаны с Богом. Когда мать передала меня настоятельнице, я поняла – разлука будет долгой. На прощание она погладила меня по волосам. «Не затягивайте», – сказала женщина в серых одеждах. У нее были седые волосы, морщинистое лицо, полные и влажные руки. Когда мать ушла, я вы-

рвалась. Удивленная настоятельница оказалась недостаточ-
но проворной. Я хорошо бегала, меня не могли догнать даже
близнецы. Я слышала, как она бежала за мной, задыхаясь и
пыхтя. Я быстро уткнулась лицом в теплые колени матери.
Но она оттолкнула меня обратно к настоятельности и исчезла.
Тогда я решила: если мать вернется, я начну разговаривать,
я больше не буду ни ведьмой, ни дьяволом, я стану послуш-
ной девочкой, может, даже ангелом, и в любом случае начну
читать по губам каждое желание своей мамиты, я награжу
ее за все усилия, я заглажу вину, чтобы ей больше не при-
ходилось меня стыдиться, чтобы она могла мной гордиться,
как остальные матери. При этих мыслях у меня внутри все
сжалось, руки и ноги задрожали, я оцепенело повалилась на
землю и будто сломалась. Сестры бросились ко мне и схва-
тили. Не удостоив даже взглядом, они молча положили меня
в ванную, наполненную ледяной водой. Это оказалось не по-
следней малоприятной встречей с жидким кошмаром. Я по-
гружалась все глубже, пока мои глаза не закрылись от уста-
лости.

И все же у меня было прекрасное детство в Аргентине.
Жизнь там была куда лучше, чем в Германии. Погода лучше,
люди лучше, все было лучше, а когда мы жили у Мерседес и
Германа, у меня даже был собственный конь – без седла, оно
было слишком дорогим, но мать могла позволить себе коня,
он стоил двадцать семь долларов и его звали Пьедрас, что
значит «камни». Я не понимала, почему нам вдруг пришлось

переезжать в Германию. Мать никогда не говорила об этой стране, зачем ей вдруг понадобилось туда поехать?

Исход

Осенью 1954 года, через несколько недель после моего девятого дня рождения, мы покинули порт Буэнос-Айреса на борту огромного корабля. В пути все было очень хорошо. Я не просто говорила, слова били из меня ключом, и порой, когда я ненадолго прерывалась и смотрела матери в глаза, я думала: возможно, я все же могу стать ангелом, ее ангелом, только для нее одной, который освободит ее от всех забот, преодолеет ее горести и высушит слезы. Ведь я по-прежнему слышала ее рыдания, и хотя я не знала о причинах печали, я чувствовала – ей нужен ангел. Мысль, что этим ангелом стану я, делала меня счастливой, ведь тогда я наконец найду себе занятие, как она велела.

В Германии все изменилось. Первым делом я получила оплеуху от матроса, потому что без разрешения спрыгнула в Гамбурге на причал. С этим шлепком закончилось мое детство. В новой стране, которая должна была в одночасье стать моим домом, хотя я потеряла о ней все воспоминания, за-прещалось все.

В отличие от Аргентины, здесь не разрешалось ходить по газонам, а при переходе улицы приходилось смотреть на светофор – если вы переходили на красный, потому что вокруг не было ни одной машины, в спину раздавались сердитые крики: «Красный! У тебя что, глаз нет?» И это звучало, как

ругательство. Люди открывали рты, в основном чтобы ругаться или делать замечания. Неважно, чем вы занимались: исправлялась или порицалась каждая мелочь. В Гамбурге, где мы остановились в первую ночь, на вопросы отвечали вежливо и холодно, в Берлине, куда мы поехали потом, не отвечали вообще. В трамвае или автобусе на вас либо кричали, либо молча указывали на табличку, запрещающую разговоры с водителем. Некоторые прохожие крайне внимательно осматривали припаркованные автомобили, спешно выискивая возможные повреждения в передней или задней части машины или причины для бегства водителя с места преступления. Несоблюдение права преимущественного проезда могло привести к тяжелому эмоциональному срыву. Они только что объявляли войну всему миру и вот уже атаковали своих сограждан. Все выглядели как мужчины, даже женщины. В Аргентине все было наоборот, там солнце освещало теплыми лучами поля, на деревьях пронзительно кричали чибисы, а люди словно парили или танцевали по воздуху – в Германии же небо было серым или синим и всегда твердым и тугим. Повсюду царили послушание, наставления и внезапные вспышки гнева, которые проходили так же быстро, как возникали. С поднятыми плечами и склоненными головами, казалось, все люди что-то скрывают.

Сначала мы поселились у подруги матери, Мопп, и она оказалась такой же забавной, как ее имя. Мы жили в сером

доме, окруженном другими серыми домами, и повсюду еще виднелись следы войны – пулевые отверстия в фасадах, осыпающиеся руины. Каждый вечер я слышала, как сосед сверху избивает жену. Казалось, это никого не волнует. Иногда открывалось окно, и мужской голос громко кричал: «Тихо». Никто ничего не говорил, когда на следующее утро женщина спускалась по лестнице с красными от плача глазами и синяками. «У всех, кто вернулся с войны, с головой не в порядке», – однажды вечером сказала Мопп. По словам матери, она была не такой пухлой, как раньше, но ее смех остался столь же заразительным, а глаза – большими и круглыми. Они сидели с матерью вдвоем на кухне. Я выбиралась из постели – потому что не могла заснуть одна в новой обстановке – или просыпалась через несколько минут от тревожных снов. Прокрадывалась в коридор, прислонялась спиной к стене, опускалась на дощатый пол, подтягивала колени под подбородок и слушала. Как раньше, когда мать читала мне перед сном, – только теперь это были не сказки. В историях возникали люди или вещи, знакомые мне в реальной жизни, но чаще всего они все равно казались странными. Как такое возможно? Была ли слишком уродливой реальность, где разыгрывались эти истории, населенные вернувшимися домой людьми, мужчинами, у которых не было рук или ног? Однажды я даже видела на улице человека, у которого не было половины лица. Я замерла как вкопанная, и матери пришлось силой тащить меня дальше.

– Может, он все же есть в телефонной книге, – раздался в коридоре сдавленный голос Мопп.

– В телефонной книге? – Голос матери звучал недоверчиво, но был полон любопытства. Такой я ее еще не видела.

– Ну да, посмотри. Это же бесплатно, – сказала Мопп.

– Легко тебе говорить. Мы не виделись десять лет. Я... я даже не знаю, как он сейчас выглядит.

О ком они говорят? Ни о моем ли отце?

– Давай уже.

Мать рассмеялась, как не смеялась почти никогда. На мгновение мне даже показалось, что я знаю, как она сейчас пахнет. Запах был знаком по спальне Мерседес и Германа. Запах запретного.

– А если трубку возьмет его жена?

– Тогда просто скажешь, что ты пациентка и хочешь поговорить с господином доктором.

– В такое время?

Я еще никогда не видела мать такой неуверенной и беспомощной.

– Болезни за временем не следят.

Моя мать больна? Почему я об этом не знала? Она скрывала специально? Я услышала, как они листают телефонную книгу.

– Глазам не верю.

Они рассмеялись, как две девчонки, придумавшие ка-

кой-то секретный план.

– Он правда тут есть! – воскликнула мать, и ее голос прозвучал гораздо выше, чем обычно.

– Ну, давай.

На мгновение на кухне воцарилась тишина. Обе замерли.

Затем раздался тупой удар об стол. Вероятно, Мопп поставила туда телефон. Мать взяла трубку и набрала номер. Я слушала судьбоносное вращение циферблата и не сомневалась: сейчас, в этот самый момент, мать звонит человеку, знакомому мне лишь по старой, слегка размытой фотографии из верхнего ящика комода. Сердце ушло в пятки. Меня затошнило.

– Тсс.

Наверное, кто-то снял трубку или гудки еще шли? Я едва сдерживала радость. С другой стороны, я подумала: если мужчина, которому она звонит, женат, он не может быть моим отцом.

– Господин доктор?

Ее пронзительный голос прервал мои размышления. Очевидно, на том конце ответили не сразу.

– Вы больше не узнаете мой голос?

Снова тишина.

– Ну, даю вам три попытки.

Теперь она говорила немного увереннее.

– Нет.

Тишина.

– Нет.

Казалось, ей доставляет удовольствие заставлять его угадывать.

– Тоже нет. Господин доктор, а, господин доктор, похоже, вы знаете много женщин. Что говорит по этому поводу ваша супруга?

Мне она тоже иногда задавала вопросы в подобном тоне – когда точно знала, что я напортачила.

– Тоже нет. Что, простите? В смысле не могли бы вы повторить вопрос? Да. Ах, поняла, есть ли у нас что-то общее в смысле какой-нибудь связи, да? Ну, пожалуй, да, в смысле вы очень близки к истине.

Обычно она так меня томила, если у нее был какой-нибудь особенно приятный сюрприз, и я едва могла дожждаться разгадки.

– Нет.

Господи, похоже, он и правда слегка непонятливый. Может, он все же не мой отец.

– Нееет, господин доктор.

Опять невыносимая тишина. Затем она произнесла спокойно и четко:

– Дочь.

Мое сердце замерло. Она действительно говорила с моим отцом. Я вскочила.

– Где?

Они договорились о встрече.

– Хорошо. Я иду.

Она повесила трубку. На короткий миг, который показался вечностью, повисла тишина. Потом задвигались стулья. Наверное, она бросилась Мопп на шею.

– Господи, Мопп, это правда он, он жив, он живет здесь, в этом городе.

– Да, отчего ему здесь не жить. И? Что будешь делать?

– Думаю, пойду к нему.

– Думаешь?

– Нет, знаю. Пойду к нему. Хочу его увидеть.

Быстро прошмыгнув в комнату, я успела услышать крик матери:

– Что надеть-то?

Когда она ворвалась в комнату, я уже лежала в кровати, с головой укрывшись одеялом. Она слишком нервничала, чтобы что-то заметить. Распахнулась дверца шкафа. На ее кровать полетела одежда. Она тяжело дышала. Я повернулась на бок и незаметно приподняла одеяло, пытаясь увидеть, что происходит. Моя мать стояла полуголая перед зеркалом, попеременно прикладывая вешалки с платьями к подбородку, и лишь со второго раза выбрала черную юбку до колен и белую блузку. Я разочарованно наблюдала, как красивая яркая одежда из Аргентины снова исчезает в шкафу. Дверь в комнату захлопнулась, потом брякнула входная дверь, ее ноги затопали по лестнице, и она ушла. Навстречу моему отцу – я носила в себе сотни его образов, но видела лишь одну фо-

тографию.

Фамилия отца

Два дня спустя он стоял в гостиной у Мопп. Не Бог, которого я всегда представляла – в нем не было даже отдаленного сходства с тем расплывчатым образом. Маленького роста, почти лысый и с многочисленными шрамами на очень худом лице. Он стоял с потерянным видом. «Словно заказали и не забрали», – как сказала бы мать. Я рассматривала его с любопытством. Похоже, он тоже не знал, о чем говорить. Взгляд матери метался между ним, мной и Мопп. Мы сели вчетвером за кухонный стол, на заднем плане царапалась старая пластинка. Мы ели хлеб с бутербродной массой. Взрослые пили пиво. Мне понравились его глаза. У него был красивый печальный взгляд.

На следующий день Отто, как называла его моя мать, пошел с нами гулять. Он взял меня за руку, и я все-таки ощутила, как сквозь меня струится нечто вроде божественного тепла. В небе плыли одинокие белые облака, гораздо красивее вечной аргентинской сини, подумала я, потому что синий мог быть только синим, а облака скользили над нам, постоянно меняя вид, – мимолетные образы из прошлого, настоящего и будущего, разорванные и тяжелые, они окрашивались в цвета заходящего солнца, как и наши лица, на которых одно настроение сменяло другое.

Вечер мы провели в зоопарке. По их словам, самом боль-

шом во всей Европе. Мы долго простояли у обезьян. Шимпанзе вплотную подошел к огромному стеклу. Они с Отто глянули друг на друга. Затем обезьяна подняла левую руку, а Отто с серьезным видом ответил на ее приветствие. Когда Отто медленно двинулся дальше, обезьяна последовала за ним. Если он останавливался, животное делало то же самое, если раскидывал или складывал на груди руки, шимпанзе подражал его жестам. Внезапно он перескочил с веревки на веревку, забрался на ветку, с загадочным видом покопался в тайнике, оглянулся, удостоверившись, что мы все еще на месте. Наконец обезьяна прискакала обратно с блестящим предметом и гордо продемонстрировала его другу и поклоннику. Это было ручное зеркало, вроде того, что использовала мать. Шимпанзе поворачивал его то к Отто, то к себе. Когда Отто с интересом наклонился вперед, обезьяна торжествующе засмеялась.

– Ну просто умооора! – восхищенно воскликнула мать.

Вечером мы ехали по Берлину на трамвае. Из-под скользящих колес летела серая, грязная слякоть. В наступающей ночи мигали уличные фонари, ледяные узоры искажали лица за окном. Отто взял меня за руку. Я изумленно на него посмотрела. Он наклонился ко мне. И шепотом спросил о моем самом заветном желании. Я выглянула в окно. По улице двигались крупные люди, широкие и тяжелые. Я подумала об их кислотоватом дыхании, которое я так часто чувствовала с тех пор, как приехала, о грубых руках, о своеобразном

запахе, который витал здесь повсюду. Некоторые напоминали громадных горилл из зоопарка, другие походили на павианов с голым задом. Но Отто был другим. Мне нравилось его лицо. Он с улыбкой повторил вопрос:

– Чего ты желаешь, Ада?

«Отца, – пронеслось у меня в голове по-испански, потому что я плохо понимала его язык. Моего папу». Я улыбнулась и промолчала. Отто улыбнулся в ответ. Он погладил меня по волосам и повторил мое имя.

– Ада?

Я повернулась к матери.

– Что он от меня хочет?

– Он хочет доставить тебе радость.

– Радость?

– Да, ты можешь что-нибудь у него попросить.

– Como se dice, quiero una bicicleta?⁴

Мать прошептала мне на ухо ответ. Я прикрыла рот рукой и несколько раз тихо его повторила. Последнее слово давалось особенно трудно, но я все же попыталась.

– Я... Хочу... Велоси... пед.

– Пожалуйста, – добавила мать.

– Пожалуйста, – послушно повторила я.

Отто снова взял меня за руку и кивнул.

А между тем к нам приходил и другой мужчина. Однажды

⁴ Как сказать, что я хочу велосипед? (исп.)

он пришел и сразу подхватил меня.

– Ну, милая малышка?

Он был длинным и худым, таким же, как его руки, которые барабанили повсюду, даже по моей голове. Это было странное чувство, не могу вспомнить, нравилось оно мне или нет. ни чуждое, ни знакомое, ни приятное, ни неудобное – скорее от него невозможно было убежать. В его глазах мелькало нечто, заставлявшее меня замереть. От страха или от восхищения? Я различить не могла. И с трудом могу даже сегодня. Моя мать была не такой, как обычно. Казалось, все менялось, как только он входил в комнату, а это он в последующие дни делал часто. Тем не менее в его внешности было что-то привлекательное, мне не нравился только его голос. Он звучал мягко и высоко, а его дыхание, как и он сам, пахло духами. Я постоянно чихала, когда он обнимал меня, прежде чем подбросить в воздух. Мать при этом безмолвно стояла в углу. Она молча смотрела на нас без своего обычного смеха. Однажды наши взгляды встретились, и я изумилась, почему она такая грустная. У нее устало опустились плечи. Голова слегка опустилась вперед, и прошла целая вечность, прежде чем губы наконец скривились в улыбке, но глаза оставались пустыми. Потом она исчезала, и меня с собой не брала.

– Ты куда? – каждый раз удивленно спрашивала я.

– Прогуляться, – звучало в ответ, и казалось, толстая железная дверь закрывается навсегда.

А потом внизу, на улице, стоял он. Похожий на антилопу. Двойная, изогнутая, словно лебединая, шея, рама сияла бледно-розовым цветом, узкие брызговики сверкали серебром, на цепи стояла украшенная защита, на руле – белые ручки, прекрасные, как дамские перчатки, а кожаное сиденье к тому же было двухцветным, коричнево-желтым. Мой велосипед. В тот вечер улицы светились ярче в честь наступающего Рождества. Холодный ветер бросал мне в лицо не только тысячи иголок, но и новую реальность. Вечером мать, смеясь, присела передо мной на колени. Так она еще никогда не делала. Она взяла меня за обе руки. И крепко их сжала.

– Кого бы ты предпочла в качестве папы?

Я изумленно на нее посмотрела.

– Маленького... Или большого?

Я раздумывала недолго.

– Велосипед.

– Велосипед! – воскликнула мать и рассмеялась. – Ну и умоора.

На следующий день, когда Отто услышал эту историю, он рассмеялся тоже, и мне разрешили называть его «велосипед», но со временем я стала называть его папой.

Имя другого мужчины я быстро забыла. Но его руки я помнила. Руки не могут ничего утаить, они прямо рассказывают истории своих владельцев, позволяя им при этом сохранить секреты. Они тактичны, порой даже скрытны, но все

же красноречивы. В некотором смысле руки независимы от своего владельца, он не способен менять их по своей воле — как бы о них ни заботились, они выдают истинный возраст и все остальные тайны.

У Отто были сильные руки с короткими, широкими пальцами. Когда он прикасался ко мне, меня наполнял свет, я чувствовала себя уверенно и свободно. Когда я болела, их прикосновения исцеляли меня.

Руки другого, того, кто подбрасывал меня в воздух, скользили прочь, когда их пытались удержать. Они подходили к его беспокойному взгляду, черным как смоль волосам, тонким, резко очерченным губам, за которыми сверкали белые зубы, когда он вонзал их в пирог. Его руки напоминали когти хищной птицы.

Через несколько недель мы переехали в маленькую квартиру Отто на Шаперштрассе, в район Шарлоттенбург. Моя мечта сбылась. Как и у всех остальных детей, у меня теперь тоже был отец.

Ушка

Когда меня представили в новой школе новому классу, все уставились на меня, как на дурочку. Я чувствовала себя чужой, а главное – нежеланной. Немецкие дети оказались замкнутыми, они избегали меня, отворачиваясь, когда я робко приближалась к компании на школьном дворе.

Я часто вспоминала учебу в Буэнос-Айресе. У сестер было ужасно, но в районной начальной школе – нет. Пестрая, яркая кутерьма, хихиканье и болтовня, совсем другое дело. В Германии весь урок дети сидели идеально ровно, а главное тихо, как мыши. Для меня оставалось загадкой, как мои одноклассники могут терпеть так долго. Казалось, все приходило сюда лишь учиться. В Аргентине люди ходили в школу, чтобы встретиться с друзьями, рассказать о вчерашних событиях, семейных новостях. Но когда разговор доходил до этой темы, я всегда утыкалась в тетрадь – ведь у меня не было нормальной семьи. Это стало единственным преимуществом в Берлине, где я наконец могла кое-что рассказать о своей семье, но здесь никто о таком не рассказывал. Возможно, рассказывать и нечего, решила я.

Вечера в Германии были свободны, но встреч никто не назначал. Считалось, после школы мы должны готовиться к следующему дню, это очень важно, если ты хочешь чего-то добиться, как объяснила мне однажды девочка со светлыми

волосами – я с восхищением смотрела на огромную щель между ее передними зубами. Ее звали Беттина, и однажды утром она пришла в школу со странным устройством во рту. Это брекеты, серьезно объяснила Беттина, и вообще-то ей нужно носить устройство только по ночам, но несколько часов днем сократят общую продолжительность лечения. Она с гордостью продемонстрировала, как одним языком отсоединяет брекеты от десен, чтобы элегантно – как мне тогда показалось – подвигать им вперед и назад. Увлекательное времяпрепровождение, особенно чтобы убить скуку на уроках. Дома я начала постоянно выдвигать вперед нижнюю челюсть, чтобы убедить родителей, особенно отца, в необходимости брекетов. К моему разочарованию, он заявил, что у меня безупречный прикус.

На большой перемене рядом со мной молча встала девочка. Она была на две головы выше и на два класса старше меня, а когда она смеялась, светлые волосы падали ей на лицо. Она казалась мне сказочно красивой, будто явилась из другого мира.

– Ушка, – представилась она. – А ты, как я слышала, приехала из Буэнос-Айреса?

На слове «Буэнос-Айрес» ее «р» прозвучало раскатисто, немцы так не могли. Я кивнула.

– Там точно веселее, чем здесь.

Я осторожно пожала плечами.

– Всегда хотела поехать в Южную Америку.

От волнения я не знала, что ответить – слова в голове рассыпались, словно карточный домик.

– Знаешь что? Давай ты поучишь меня испанскому, а я немного помогу тебе с немецким. Хочешь?

Я кивнула.

Мы медленно прошли по двору к зданию школы. Я чувствовала пристальные взгляды других девочек и мальчиков за своей спиной. У нас была смешанная школа. Для меня это тоже оказалось в новинку, в Буэнос-Айресе девочек и мальчиков обучали отдельно. В Германии действительно все было иначе.

– Почему ты со мной заговорила?

Ушка посмотрела на меня так, словно вопрос был лишним.

– Потому что ты отличаешься от этих зануд, – ответила она, и это было впервые, когда другой человек описал меня именно так, как я себя ощущала.

Ушка стала моей первой в жизни подругой. В Аргентине я всегда избегала других детей. Мне не разрешалось играть с дочерьми и сыновьями персонала, и потому сначала я ни с кем не общалась. Думаю, мать ставила себя выше их.

Ушка казалось такой же неискушенной в вопросах дружбы, как я, и мы сразу нашли общий язык. Она была из очень знатной семьи. Язык, жесты, непринужденность, с которой она формулировала свои желания, – она отличалась во всем,

и меня привлекала ее недостижимость.

Однажды мы гуляли вдоль Шпрее, наблюдая, как мимо проплывают лодочки, и скормили уткам остатки школьных бутербродов – вернее, это сделала Ушка, мне бы никогда не хватило на такое смелости. Если бы мать увидела, как я выбрасываю еду, то так бы меня поколотила, что еще несколько дней я смогла бы присутствовать на уроках исключительно стоя. Ушка заметила мое смятение.

– Они тоже хотят есть. Отец научил меня, что все живые существа равны, или, по крайней мере, мы должны с ними так обращаться.

Она бросила в воду еще несколько крошек и задумчиво наблюдала, как за ними ныряют утки.

– Как сказать по-испански «животные»?

– Animales.

К сожалению, мой отец не разрешил нам прогуливаться по городу после обеда. Он сказал, это слишком опасно. Я заявила, что буду делать с Ушкой домашнюю работу, и она научит меня хорошо говорить по-немецки. И хотя отец нахмурил лоб, он согласился на эту сделку – возможно, потому, что заметил у меня реальный прогресс. В конце концов, он не мог отменить собственный приказ.

Казалось, сначала он не возражал, если я периодически говорила с матерью по-испански, но однажды, измотанный после рабочего дня в клинике, он отпер входную дверь и услышал наши смеющиеся голоса. Когда я бросилась к нему,

он покачнулся, словно пьяный.

– Miralo, miralo Mama, handa como un boracho⁵.

Да, сначала мне действительно показалось, что он пьян.

Я стояла перед ним, закутанная в цветастую шаль его жены, и царственно развлекалась.

– Ты надо мной смеешься?

На мгновение мне показалось, сейчас он меня ударит.

– Miralo, que pasa, Mama, Me da miedo⁶.

Он тяжело дышал. Его рот открывался и закрывался, как у полумертвого карпа.

– Que pasa, Mama, porque no habla?⁷

У него на лбу выступил холодный пот. Как у быка на арене, бьющего копытом.

– Успокойся, – сказала мать. – Все в порядке. Ты дома. Здесь только мы. Твоя семья. Все кончилось. Все позади.

Я не поняла ни слова. Его лицо покраснело, выступили лиловые вены, голова вжалась в плечи, и из горла вырвались нечленораздельные крики, похожие на вопли дикого животного.

– Они больше не могут причинить тебе вреда, они проиграли, они мертвы, мертвы, мертвы.

Мать осторожно подошла к нему. Я выглядывала, наполовину спрятавшись за ее спиной. Затем он ударил кулаком по

⁵ Посмотри мама, посмотри, он как пьяный (*исп.*).

⁶ Мама, посмотри что происходит, мне страшно (*исп.*).

⁷ Что происходит, мама, почему он не говорит? (*исп.*)

стене.

– Вы... Вы... Я запрещаю вам говорить по-испански. Запрещаю. Понятно?

– Да, – ответила мать. Она говорила четко и спокойно.

Он снова ударил стену, а потом еще и еще и закричал:

– Прекрати наконец. Прекрати.

Его дрожь утихла. На мгновение мне показалось, что у него в глазах стоят слезы. А потом он развернулся и ушел. Когда дверь закрылась, мать сказала, что это последствия войны, и он подумал, будто мы над ним насмехаемся. Потом она странным взглядом посмотрела перед собой и, не сказав ни слова, исчезла в спальне. Я знала этот взгляд, он пугал меня. Вероятно, ближайшие несколько дней она будет выглядеть как привидение и молчать.

Тогда я знала о войне мало – по сути, вообще ничего – в Аргентине мы это не обсуждали, и я не могу вспомнить, чтобы кто-нибудь говорил об этом в первые годы после нашего возвращения в Германию. Все вели себя, будто ее никогда не было. И если бы не разрушенные дома с дырами от выстрелов, я бы тоже в нее не поверила. Еще мать сказала, что мой отец – совсем другого происхождения, и думаю, я впервые услышала это слово из ее уст. Происхождение. Это другое название для семьи?

Другое происхождение

Квартира находилась в Штеглице. Все выжившие гордились прыжком с первого этажа задворок Кройцберга на второй этаж нарядного переднего дома.

– Проходите в джутовую комнату.

Мне нравилась тетя Инге, младшая сестра отца, немного располневшая за послевоенные годы, но ее легкое косоглазие слегка смущало – я не понимала, в какой глаз смотреть. Когда мы приходили в гости, от нее каждый раз пахло новыми духами, в отличие от ее сестры Эрны, жерди, которая постоянно ворчала.

Бабушка Анна и мой отец садились с двух сторон во главе стола, а мы, дети и внуки, устраивались напротив друг друга. Бабушка трижды выходила замуж. Когда один умирал, она знакомилась на церковной скамье со следующим. Отец Эрны, Вилли, взял веревку и ушел в лес. Отец Отто, которого тоже звали Отто, погиб на Первой мировой войне, за три месяца до рождения сына. Он был большой любовью бабушки Анны, и потому она назвала его именем моего отца. Ее последний муж, Карл, был разнорабочим. Большую часть времени он был пьян и избивал всех вокруг, кроме любимой дочери Инге. Он умер незадолго до конца войны, дома, у печки. Три свадьбы, трое родов, трое похорон. После этого бабушка Анна посвятила себя Богу.

Тяжелое воскресное жаркое опустилось в центр стола. Здесь никого не заставляли сидеть идеально ровно, люди всем телом наклонялись над столом и опирались на него, чтобы протолкнуть нагруженную вилку поглубже в широко раскрытый, как у стоматолога, рот – ему оставалось лишь неторопливо и шумно трудиться, благодаря чему утомительные застольные дискуссии с вечно одинаковыми вопросами о жизни становились излишними. Если разговоры и были, то длились они недолго.

– А где Сала? – спросила бабушка Анна.

– Дома, мама, я же тебе говорил.

– Нет.

– Нет, уже говорил.

– Нет.

– Говорил.

– Нет, не говорил.

Она отложила приборы в сторону.

– Ну, значит, нет, – сдался отец.

Дядя Гюнтер со стоном потянулся через стол. Его рука не дотягивалась до миски.

– Волкер, картошку.

У моего двоюродного брата Волкера уже заплыли жиром бедра. Его пухлые губы казались мне жутковатыми. Кроме того, он на меня паялся.

– Малец, сделай-ка погромче. В этом бедламе ничего не слышно! – крикнул дядя Гюнтер.

Волкер со стоном встал.

– Гюнтер, веди себя прилично.

Бабушка Анна не терпела дурных манер. Она была дамой. Если кто-нибудь заходил в ее присутствии слишком далеко, то сразу получал по рукам, и неважно, кто это был, – ее не остановил бы сам евангельский епископ.

– Тихо падает снег... – пропела Габи и стряхнула с плеч брата перхоть, когда он сел на место.

– Сейчас получишь, – огрызнулся Волкер и повернулся к матери.

– Правильно, мой мальчик, не давай себя в обиду. А вы, барышня, следите за языком, ладно?

– Господи, это поллюции, да?

Габи враждебно посмотрела на мать. Когда рука дяди Гюнтера ударила по столешнице, тетя Эрна от ужаса выронила вилку. Ее муж, дядя Полхен, спрятал усталые глаза-пуговицы за толстыми стеклами очков.

– Уймись, хабалки. Я пытаюсь смотреть передачу, – прорычал дядя Гюнтер.

– Ни слова против маминого любимчика, – прошептала мне двоюродная сестра.

Габи, хорошенькая дурочка, как называла ее мать, была та еще пройдоха. Когда я впервые пришла к ним в гости, она заманила меня в ванную, задрала свое платице, наклонилась, широко раздвинула ягодицы и гордо воскликнула: «Смотри». И потом тоже постоянно хвасталась, что на ней

нет трусиков.

– У тебя уже есть поклонник?

Я покраснела и покачала головой.

– Ну, все еще впереди, или ты из другой команды?

Габи было шестнадцать, и она хлопала приклеенными ресницами. Я понятия не имела, о какой команде шла речь.

– Ну, буч? – сказала она и закатила глаза.

Прежде чем я успела что-то ответить, она схватила меня между ног. И ущипнула так сильно, что на глазах выступили слезы. Я злобно ударила ее кулаком по ребрам. Она коротко ахнула, но оставила меня в покое до конца дня.

– Как дела в школе, Волкер? – спросил мой отец.

– Понятия не имею.

Тетя Инге положила руку на колени сыну.

– Мой Волкер сейчас проходит стажировку.

– А, – ответил отец. – На кого же?

– На автомеханика, – ответила тетя Инге.

– Тоже на механика? А водительские права? На этот раз удалось?

– Не-а, – ответил Волкер.

– Как же ты тогда собираешься стать механиком?

– Я должен чинить машины, а не кататься.

– Вот как, – сказал мой отец.

– Да. Или вы должны жениться на пациентках, прежде чем ковыряться у них в носу?

– Точно, – поддержала его тетя Инге.

– А где пианино, которое я подарил вам на Рождество? – спросил мой отец, не желая развивать тему.

– Волкер разобрал его, – сказала тетя Инге.

Отец вопросительно на нее посмотрел.

– Разбил, – уточнил Волкер.

Отец резко выпрямился, словно проглотил палку.

– Он сделал из фортепианных струн гитару, – пояснила тетя Инге.

– Бас-гитару, – поправил Волкер.

– Да, отменную бас-гитару, – сказала тетя Инге. – Неси ее сюда, мой мальчик.

Волкер молча встал.

– Что Сала делает дома? – спросила бабушка Анна.

Разве она не заметила, что папе не понравился этот вопрос? Почему начала опять?

– Отдыхает, – ответил он.

– Почему?

Я украдкой глянула на отца. Возможно, он сможет объяснить, почему в некоторые дни моя мать встает с постели, только чтобы поесть.

– Плохо себя чувствует, – сказал он.

– А.

Бабушка отвернулась. После короткой паузы она посмотрела на нас строгим взглядом.

– Вы в церкви сегодня были?

Все продолжили молча есть.

– А Сала, значит, плохо себя чувствует?

– Я уже сказал.

– А.

Отец принялся тщательно складывать салфетку, словно на данный момент не было ничего важнее. Возможно, он знал точно, а может, просто догадывался. Бабушка Анна, его мать, медленно сходила с ума. Она вызывающе взглянула на сына.

– Опять душа, да?

– Отто, картошки? – предложил дядя Гюнтер.

Вернулся Волкер с бас-гитарой. Очевидно, он распиливал заднюю стенку фортепиано до тех пор, пока получившийся результат не начал отдаленно напоминать бас-гитару. Отец молча пялился на стол.

– Не переживай, Отто, – сказал Гюнтер, – мне пианино тоже нравилось больше, но мать позволяет мальчишке все, дает карт-бланш, как говорят французы.

В таких обстоятельствах отец даже заговорил со своим зятем.

– Как работа, Гюнтер?

– Получил повышение.

– Поздравляю, Гюнтер, я очень рад.

– Начальник бригады СУБ.

– Ах да.

– Папа, что такое СУБ?

– Служба уборки Берлина, – ответил отец.

– Вывоз мусора, говори прямо, Отто. Дядя Гюнтер теперь руководит вывозом мусора, мое дитя, – сказала тетя Инге.

Я попыталась поймать правильный глаз, чтобы вежливо ответить на ее взгляд.

– СУБ, – повторил дядя Гюнтер. После шестого пива у него уже немного заплетался язык.

– Душа, – тихо пробормотала бабушка Анна. На нее уже никто не обращал внимания.

– Задумайтесь, когда проиграете.

Сказав эту фразу, она внезапно посмотрела на меня. Все замолчали. Папа повернулся к своей матери.

– Что ты сказала?

Бабушка Анна подняла красиво поседевшую голову. Она с улыбкой посмотрела в безмолвные лица своей семьи, будто знала, что здесь никто не сможет понять, о чем речь. И назидательно, со строгой улыбкой повторила:

– Задумайтесь, когда проиграете.

Ее взгляд был по-прежнему прикован ко мне.

– Мама, о чем ты?

– Разве вы не слышите его голос?

– Какой голос? – спросил папа. Бабушка спокойно на него посмотрела.

– Ну, голос.

– Мама, о чем ты?

– Да дураки из телевизора, – пыхтя, вставил Гюнтер. Бабушка Анна гордо поднялась.

– Ты плохо слышишь, мой мальчик? Возможно, тебе стоит сходить к лору.

– Так он сам лор, – рассмеялась Габи.

Бабушка Анна спокойно на нее посмотрела.

– А.

– Мама, какой голос ты имеешь в виду? Людей из телевизора?

– Задумайтесь, когда проиграете.

Она одним прыжком соскочила со стула, подняла левую руку в воздух, словно сверкающий меч, и обратилась к небесам.

– Бог.

Потом она упала и больше не двигалась. Мой отец сразу вскочил, ему почти удалось поймать ее в падении. Он нащупал пульс, спокойно следя за тикающей секундной стрелкой своих часов. Вызвал «Скорую». С тех пор он навещал свою семью исключительно в одиночку. Однажды я услышала, как он сказал матери о неподходящей обстановке. Я снова встретилась с ними лишь однажды, на похоронах бабушки. И это был единственный раз, когда я видела, как плачет отец.

Годы спустя я вновь и вновь вспоминала тот день. Неужели распад начался уже тогда? И, став молодой женщиной, я переживала испорченные отношения родителей с их семьями?

Сейчас все уже кажется ясным, но тогда я не понимала. Как развивать близкие отношения с семьей, обрести чувство

безопасности и близости, если родители показали обратное? Моя мать обожествляла своего отца, но ее отношения с матерью Изой были пугающе холодными. Я же не знала, что бабушка Изали, как мы ее называли, сбежала в двадцатых годах в Испанию с двадцатилетним мужчиной, оставив шести- или семилетних дочерей с бисексуальным мужем, потому что не умела обращаться с детьми. Только сейчас я начинаю понимать, что не хотела слушать эти истории тогда и не хочу сейчас. Когда мать пыталась рассказывать мне о своем детстве в Швейцарии на Лаго-Маджоре, о Монте Верита, легендарной горе, где она росла среди реформаторов, анархистов, вегетарианцев, танцующих нудистов, мечтателей, психоаналитиков и сумасшедших, я каждый раз пропускала это мимо ушей. С одной стороны, я страдала от беспрестанного молчания их поколения, с другой – не хотела слушать странные истории. Это противоречие определило мое развитие. Сколько моих сверстников испытали подобное? Думаю, то, что я увидела в тот день, но не поняла из-за сильного испуга, было стыдом. Но каким стыдом? Было ли отцу стыдно за свою семью или за то, что он не поддерживает с ними связь? Стыдился ли он из-за пережитого на войне? Когда мне было шестнадцать или семнадцать, а иногда и в более старшем возрасте, я думала: мои родители – все родители – виноваты. Хотя я и не знала, в чем именно, но виноваты. Наверное, так думают все подростки во все времена, разница заключалась лишь в том, что большинство немцев во времена мо-

ей юности действительно были виноваты. Не знаю, было ли им стыдно. Иногда мне кажется, они передали нам это блюдо непереваренным, и мы пережевывали его до тошноты. Но даже в таком случае я все равно не знала, почему испытала тогда те чувства, и еще хуже – испытала ли я их вообще или просто попала в бесконечную странную петлю. Повторение – лишь другое название неизбежного ада?

Гитлер

С появлением подруги серый город сразу стал дружелюбнее. К тому же она могла рассказать о прошлом, в ее семье хранилось бесчисленное количество фотографий старого Берлина, и на одной из них ее отец даже был запечатлен с Адольфом Гитлером.

Кажется, я впервые услышала это имя от Ушки. На фотографии семья находилась в его имении «возле городских ворот», как со смехом сказала Ушка. Они стояли на просторной подъездной дорожке, на заднем плане сверкали два больших черных лимузина. Человек по фамилии Гитлер, которого она всегда с немного комичной интонацией называла «фюрером», гладил по волосам ребенка.

– Это ты? – спросила я на своем уже почти идеальном немецком.

Она кивнула.

– А это мой отец.

– Очень красивый, – не без зависти отметила я.

Наши взгляды замерли на фотокарточке. Высокая фигура казалась одновременно легкой и величавой.

– Кажется, именно тогда я видела его в последний раз.

Она помолчала.

– Знаешь, что самое худшее?

Я покачала головой.

– Я его не помню.

Мы сидели на набережной в зоопарке. Наши голые ноги болтались в воде. Вокруг одиноко жужжал шмель.

– У меня осталось лишь несколько снимков да рассказы матери.

Мы с Ушкой прошли половину города. Я еще никогда столько не ходила. Берлин был странным. Дома, улицы. Ничто между собой не сочеталось.

Недалеко от нашей квартиры стояла на площади церковь со сломанным шпилем – как объяснила Ушка, его снесло бомбой.

– Они застрелили отца, – сказала Ушка.

Она произнесла это очень легко. Впервые кто-то заговорил о войне.

– Кто такой Гитлер, мама?

Вопрос застал мою мать врасплох. Она удивленно на меня посмотрела.

– Мама?

Нас окружили торопящиеся прочь от школы люди. Подходили родители, чтобы забрать детей, гудели машины. Внезапно мать показалась мне очень уставшей, такой уставшей, будто вот-вот упадет. Она сжала кулаки. Я перепугалась. Видимо, в моем вопросе было что-то плохое. Или неправильное. Что-то опустилось на нас, словно мы оказались в стек-

лянной клетке. Мне вспомнилась «Алиса в Стране чудес», я стала крошечной и стояла перед матерью, стуча пальцами по стеклянной стене, и смотрела, как снаружи беззвучно скользили мимо люди, не обращая на нас никакого внимания.

Дома мать заперлась в спальне, шепча что-то про боль и ржавый гвоздь в голове. Это из-за меня.

Я уселась за кухонный стол делать уроки. Передо мной лежали раскрытые тетради и книги. Я смотрела на них. Мой взгляд осторожно блуждал между печатными страницами и пустой тетрадью. Я пыталась представить мать, как она сидит или лежит на кровати в своей комнате. В Буэнос-Айресе она тоже иногда себя так вела. Это всегда происходило неожиданно, словно лавина. Возникало из ниоткуда, как чудовище или бесформенный призрак. Но теперь у чудовища появилось имя: Гитлер.

Я должна была что-то сделать, прежде чем вернется отец и обнаружит ее в таком виде. Это ему точно не понравится, и возможно, он обвинит меня. Несколько дней назад он предупредил, что с ней следует всегда вести себя мило, особенно когда она устала, — я не должна становиться для нее обузой. Нужно ли сказать ему, что чужого имени оказалось достаточно, чтобы привести ее в такое состояние? Это звучало как очень глупое оправдание. Или будто я сумасшедшая. Меня трясло от холода. Снаружи светило солнце. Возможно, он подумает, что мы снова говорим по-испански втайне от него. Я его понимала. Мне бы тоже не понравилось, если бы мой

ребенок говорил на другом языке, на котором я не понимаю ни единого слова. Возможно, я тоже бы закричала или даже схватила ребенка, чтобы его избить, а потом еще избил бы его мать — она плохо воспитала ребенка, не научив родному языку. Но что делать теперь? Я тихонько прокралась в спальню. Осторожно прижала ухо к двери. Услышала ли я хрипы? Или просто шорох? Там что-то двигалось? Если просто войти, она может очень сильно разозлиться, ведь дверь закрыта не просто так. Мать хочет тишины и покоя, ее ни в коем случае нельзя тревожить. С другой стороны, если она задохнется в своей комнате, я буду виновата в ее смерти. Нужно что-то придумать, какое-нибудь хорошее оправдание, что-то простое, совсем случайное. Но в голову ничего не приходило. Чем напряженнее я думала, чем стремительнее нарастал страх. Ведь было то, чего я боялась сильнее материнского гнева из-за непрошенного визита в спальню. Страшнее любого наказания был ее взгляд: она пялилась в пустоту широко раскрытыми глазами, огромными стеклянными бусинами в темных впадинах подо лбом, когда-то мягкими и красивыми, а теперь пустыми. Когда я впервые увидела мать, лежащую вот так на кровати в Буэнос-Айресе, то решила: она умерла. Тогда я подумала, что моя судьба предрешена, я окажусь во власти близнецов, потерянная в чужой стране. Откуда мне было знать, что меня ждало другое место? Место, где я родилась. Нужно срочно что-то делать. Нельзя ждать, пока станет слишком поздно.

Когда вошел отец, я по-прежнему неподвижно сидела за столом.

– Ада?

Я не двинулась с места. Он положил ладонь мне на лоб, пощупал пульс. Потом отправился в спальню.

– Сала?

Мать тоже не ответила. Вернувшись на кухню, он взял меня на руки. Отнес в спальню и осторожно положил рядом с мамой. Как давно мы не лежали рядом? Он присел к нам, опустил руки на лбы. Хрипы матери утихли, сменились ровным дыханием, глаза закрылись, на лицо вернулся мягкий румянец.

Жена Лота

Спасай душу свою, не оглядываясь назад и нигде не останавливаясь в окрестности сей. Так в Библии предупреждают Лота ангелы, пытаясь спасти его от грозящей гибели. Лот и его дочери придерживаются совета, но, когда Бог насылет на Содом и Гоморру дождь из серы и огня, чтобы уничтожить города, их жителей и все, что растет из земли, жена Лота оборачивается и превращается в соляной столп.

Мы стояли перед турагентством. Всюду плакаты. И везде Италия. Весна в Италии, лето в Италии, солнце, песок и море, маленькая птичка щебечет на зеленом фоне под синим летним небом, очаровательная красotka с волнистыми волосами и разноцветным букетом возле груди стоит у римской колонны, сверкают кабриолеты, автомобили «Боргвард», «БМВ», «Авто Юнион», «ДКВ» и даже скутер «Го-Го», они зовут прокатиться с дорогой супругой и милыми детишками по теплему югу. Мать молча побежала дальше.

Мы спешили по улицам, мимо строительных площадок, рекламных плакатов с моющими средствами, кулинарными книгами, автомобилями, нейлоновыми и перлоновыми чулками. Перед книжным мы остановились. Мать с любопытством изучила названия книг в витрине: «*Счастливая домохозяйка*», «*Красота в доме*», «*Красивые и практичные фар-*

туки», *«Быть и оставаться красивой»*, чуть левее – *«Советы для женщин: хобби моего шефа»*, *«Шансы на брак у женщин»*.

– Просто умора, – пробормотала она.

На этот раз она не стала вдаваться в подробности, лишь немного подышала на витрину. Наклонилась вперед: на одном из плакатов спиной к зрителю стоял мужчина и смотрел на таблицу, где выстроились в ряд женские силуэты – по возрасту, от двадцати до пятидесяти, – и с каждым десятилетием их становилось все меньше. К пятидесяти осталась только одна. В соседнем магазине мы купили перлоновые чулки.

Когда Мопп открыла дверь, мать бросилась к ней в объятия. Мопп крепко прижала ее к себе и затащила нас в свою квартирку. Здесь царило тепло. Возможно, благодаря желтым, коричневым и красным оттенкам, или тому, как Мопп расставила свои немногочисленные вещи, или тяжелым, мягким занавескам, которые словно повторяли изгибы Мопп, прежде чем плавно лечь на пол. Мать устало опустилась в кресло.

– Ундерберг поможет каждой уставшей и обессиленной женщине.

Мать изумленно на меня посмотрела. Мопп громко фыркнула.

– С чего ты взяла?

– Так написано на одном из рекламных щитов. Там сидит,

подперев голову, жутко уставшая женщина, а рядом на столе стоит стакан и бутылка настойки. И сверху надпись: Ундерберг поможет каждой уставшей и обессиленной женщине.

– Я не устала, – мать посмотрела на Мопп. – Ну может, немного обессиленела.

Они расхохотались. И я тоже не удержалась от смеха. Все снова стало хорошо.

– Ундерберга у меня нет, но как насчет вина?

– В такое время? – с наигранным ужасом спросила мать.

– Днем лекарство, вечером грех, – сказала Мопп.

Снова этот смех. Минуту назад жизнь казалась тягостной, но теперь все стало прекрасно и удивительно. Мопп вернулась с бутылкой белого вина и двумя бокалами. Она тихо села с другой стороны овального столика.

– Поздний урожай. Монастырское.

Мать пила маленькими быстрыми глотками. Постепенно расслабившись, она окинула взглядом комнату. Со времени нашего последнего визита многое изменилось. Появились стулья, на которых мы сидели, радиолы, маленький телевизор, ковер, даже настенные лампы и стеклянные сосульки, свисающие с потолка посреди комнаты.

– Ты выиграла в лотерею?

– Не-а, дядюшка отошел в мир иной.

– Значит, можем оторваться.

Они рассмеялись.

– Так ты не прочь? С виду и не скажешь, – заметила

Мопп. Ее маленькие глазки загорелись уверенностью. – Знаешь что, Ада? Мы с мамой немного поболтаем на кухне, а ты пока посмотри телевизор. Что скажешь?

Я радостно закивала. Дома телевизора не было, отец был категорически против. «Чистое одурачивание народа», – заявлял он, и ничто не могло его переубедить. В школе я вечно краснела до ушей, когда другие рассказывали, что посмотрели накануне вечером.

– Сейчас как раз идет «Отец знает лучше».

Мать громко расхохоталась.

– Умооора.

Я не понимала, что в этом смешного, но на всякий случай посмеялась.

Мопп включила телевизор и принесла бутерброды.

Сериал был про прекрасную американскую семью. Отец Джеймс, которого все называли Джимом, каждый вечер возвращался домой после успешного рабочего дня, натягивал удобный свитер и спрашивал, как его дорогая семья провела день. У нас только мать периодически спрашивала, как дела в клинике, а отец, который не расставался с галстуком и воротничком даже после работы, отвечал либо «лучше молчи», либо «мое терпение подходит к концу». Жена Джима Маргарет с большой любовью занималась домом, и казалось, это доставляет ей огромное удовольствие – в отличие от моей матери. Правда, в ее распоряжении были самые лучшие новомодные вещи, устройства, которых я прежде нигде не

видела, и они словно выполняли работу за нее. Еще у них была старшая дочь, Бетти, которую отец всегда называл принцессой. Она была старше меня – лет семнадцать. Ее младший брат Бад вел себя весьма непослушно, и его постоянно называли подростком, если он допекал самую младшую сестру, Киттен. В остальном все было как в реальной жизни – только иначе, чем у нас. Отец Джим заботился обо всем, буквально обо всем, всегда улыбался, а любимая жена помогала ему и улыбалась еще шире. Эта семья немного напомнила мне Мопп, чей веселый хохот доносился из кухни. Она была единственным человеком в Германии, который постоянно улыбался или смеялся. Я представляла, как хорошо ее бледное круглое лицо впишется в семью Джима, Маргарет, Бетти, Бада и Киттен. Она не была красоткой, но, несмотря на слегка съехавший парик, маленький острый ротик и круглые щечки, в ней таилось гораздо большее – она была прекрасна, ведь когда она появлялась, всходило солнце. Она знала меня с рождения. И была единственным человеком из того темного времени, о котором все молчали.

За окном зажглись фонари. Замигали их желтые огни. Разве нам не пора домой? Разве нас не ждет с нетерпением мой отец? Я беспокойно прокралась в коридор. И замерла как вкопанная – мать плакала. Я уже несколько дней чувствовала грядущие перемены, они то накатывали, то отступали. Ее лицо обретало бледно-желтый оттенок свечного

воска. И хотя она продолжала набирать вес, в такие моменты она казалась обессиленной, словно вот-вот рухнет. Она плакала. Скорее, хороший знак. Когда дела шли совсем плохо, она лишь пялилась в одну точку. И напоминала пустой трамвай, который стоял и ждал, пока из него выйдут все призраки.

– Если лошадь мертва, всадник спешивается.

Однажды вечером она сказала эту фразу моему отцу, а потом они молча ушли с кухни. Они не знали, что я еще не сплю. Не видели моих широко раскрытых в темноте глаз.

Я должна была узнать, почему она плачет. И я прокралась вдоль стены к кухонной двери.

– Думаю... – Она глубоко вздохнула. – Думаю...

Ей было тяжело говорить, я почувствовала, я знала. У меня за спиной зазвучал вальс, возвещая о начале следующей передачи, нам пора было срочно уезжать, отец наверняка уже мечется по кухне, словно рассерженный человечек из рекламы сигарет НВ. На улице пошел снег, первые хлопья колыхались на ветру и, умирая, бились в окно гостиной.

– Думаю, мне нужно уехать. Думаю, я хочу в Париж, – услышала я голос матери. – Купить в турагентстве билет на поезд, пойти домой, придумать историю – скорее для Ады, чем для Отто, – и продолжать плакать от радости, от тоски. Когда разрывается сердце, я знаю: все правильно, Мопп. Как и тогда, выйти на Лионском вокзале. Лола с шофером меня не встретят, но это неважно, главное – Париж, хоть нена-

долго, и я вернусь, лишь глотну немного воздуха, переведу дыхание. Почему мне нельзя? А вдруг я встречу Ханнеса, случайно, как тогда в «Дё маго»? Господи, – она тихо рассмеялась. – Как сейчас, помню тех немецких солдат и двух молодых француженков, к которым они неуклюже подбивали клинья, обмениваясь непристойностями с помощью азбуки Морзе. И вдруг рядом сел он. Появился из ниоткуда, темные волосы элегантно зачесаны назад с помощью помады, легкий аромат цитрусовых, блестящие белые зубы – он был невероятно хорош, как американская кинозвезда. Как Кэри Грант. Потом он шепотом переводил мне перестукивания солдат. Сразу начал говорить со мной по-немецки. Не услышав от меня ни слова, ни секунды не сомневался в моем происхождении. – Она снова рассмеялась. – Его длинные руки, тонкие пальцы, первое прикосновение. Мы вышли на улицу и уставились на небо. Луна над нами. Несколько дней, несколько ночей, а потом он исчез, и на пороге возник Отто. Точно как в Лейпциге.

Мать долго молчала, потом прокашлялась.

– Безумие.

– Что? – уточнила Мопп.

– Всякий раз, когда исчезал Ханнес, появлялся Отто. Словно из ниоткуда. Будто они договаривались. В Лейпциге я его едва узнала. Призрак на вокзале. Отощал до костей. Два дня, и ему пришлось вернуться на фронт. А я забеременела.

– Да, – сказала Мопп.

– Порой, когда во мне пробуждаются эти воспоминания, я боюсь стать похожей на мать. Я не знаю, что делать, Мопп.

Стало так тихо, что я слышала их дыхание. Из гостиной доносилась драматичная музыка.

– В мыслях я бегая по улицам с Ханнесом, как тогда, рука об руку. Я виделась с ним снова вскоре после нашего возвращения из Аргентины. Через два дня после того, как нашла Отто в телефонной книге, помнишь?

– Еще бы.

– Отто и Ханнес, как в Париже и Лейпциге. Сначала один, потом другой.

Сердце колотилось так громко, что я прижала руку к груди, опасаясь, что оно меня выдаст.

– Думаю, я надеялась, что Ада почувствует правду. Что ребенок сможет принять решение за меня. Мне хотелось наконец обрести покой. Хотелось дом. А теперь я убегаю. Как мать. Я такая же неугомонная, как она. Знаешь, что она тогда написала, когда я была почти ребенком? Время от времени над этим миром появляется метеор, который указывает путь другим. Значение имеют только эти метеоры, и ничто другое.

Они помолчали.

– Я не метеор, Мопп. Я не боролась с диктатурой Франко, как она, меня не приговаривали к смерти за убеждения, я не ждала пять лет в тюремной камере казни. За мной охоти-

лись, запирали – тогда, в Гюрсе, – и лишь случайность спасла меня от газовых камер Освенцима.

– Но ее помиловали, она выжила, как и ты.

– Да, прямо как я, только стала при этом героем. – Ее голос прозвучал холодно и горько. – Анархистка, которая не боялась смерти.

Снова стало тихо. Только работал телевизор, мой тайный сообщник.

– А я? Лишь по счастливой случайности вырвалась из лап смерти. Выжила, пока миллионы людей задыхались в газовых камерах. И даже если бы все сложилось иначе... Я бы умерла просто из-за убеждений нацистов, а не в борьбе за собственные идеалы. Мне этого даже в голову не приходило. Когда я сидела с другими женщинами за колючей проволокой в Гюрсе, я просто хотела выбраться. Выжить, и больше ничего.

– Ты хочешь чувствовать себя виноватой? Сала, это абсурд.

Я не понимала ни слова. Скрипнул стул, словно Мопп придвинулась ближе.

– Я постоянно думаю о Ханнесе. Ничего не могу поделать. Я плохая мать и плохая жена.

– Сала, это пройдет.

– *Plaisir d'amour ne dure qu'un instant...*⁸

⁸ «Любовное удовольствие длится лишь мгновение» (*фр.*) – строки из классического французского романса «Plaisir d'amour» («Радость любви»).

Они принялись тихо напевать песню.

– *Chagrin d'amour dure toute la vie...*⁹

Мать рассмеялась. Что-то зашуршало. Теперь они обнимались?

– Ты права. Это пройдет. Просто он был частью меня. А теперь обе части живут в разных местах. В разных временах. Больше ничего общего. Впрочем, кто знает.

– Париж? – спросила Мопп.

– А почему нет? Да, почему нет? Есть много причин остаться: Ада, Отто. Отказ от бегства – тоже важная причина. Нужно нести ответственность. Это правильные ответы, но они звучат фальшиво. Все фальшиво. Куда бы я ни пошла... Ничего не выйдет.

– Может, не сегодня... – сказала Мопп.

Перед глазами все поплыло, я задыхалась, пытаюсь побороть подступающие слезы. Почему Мопп не испугалась? Не рассердилась? Разве то, что собирается сделать мать, не ужасно? Она хотела бросить мужчину, которого наконец нашла, хотела бросить меня. Она оказалась ничем не лучше своей матери. Такой же холодной и злой. Неужели она настолько нас ненавидела? Сначала я хотела закричать. Но не смогла. Я незаметно вошла в дверь.

– Нам пора домой.

Мать подняла взгляд. Побелев как мел, вытерла со щеки слезу. Мопп сидела напротив. Она не смеялась и не плакала.

⁹ «А разбитое сердце остается на всю жизнь» (фр.).

Была спокойна и ясна, как зеркало. Лицо матери оживилось, цвет медленно вернулся – словно поезд, снова набирающий скорость. Она подняла голову и тряхнула темными волосами.

– Мне нужно в парикмахерскую.

Голоса

Я до сих пор иногда их слышу, во сне или наяву. Непонятые тогда слова: газовая камера, Освенцим, Гюрс. Они остались незнакомыми, хоть их и подкрепили заезженными объяснениями. А мне не хватало не объяснений, а чувств. Мое тогдашнее подслушивание кажется теперь таким же беспомощным, как отслеживание разговора на совершенно незнакомом языке. Я вижу маленькую десятилетнюю девочку, которая пыталась плыть против течения, словно лосось, стремилась вернуться к источнику, но не знала, что там можно искать или найти.

На следующее утро меня разбудил шепот родителей. Я притворилась спящей.

– Я должна уехать, я больше не могу.

– Сала, это пройдет. Подумай о ребенке.

– Не могу.

Я прислушалась к звукам. Шум воды, грохот посуды. Родители молча накрывали стол к завтраку. Конечно же, не глядя друг на друга, это я уже знала. Они любили друг друга, я это чувствовала, но иногда казались такими чужими, словно приехали из далеких стран. Скоро мать явится меня будить. Придется идти в ванную. Мыться, одеваться, ехать на автобусе в школу.

– Отто, прошу.

– Как ты это себе представляешь?

– Мопп могла бы немного пожить у нас.

– Мопп?

– Она обо всем позаботится, вот увидишь.

Они снова замолчали. Тишина подползала все ближе. Я боялась даже дышать.

– Надолго?

Ответа нет. Почему она не ответила? Что означает это молчание?

– Что тебе понадобилось в Аргентине? Я не понимаю, Сала. Мы пытаемся здесь что-то построить. Почему ты убегаешь?

– Только... Один раз. Эта страна. Люди. Я так по всему скучаю. Хочу увидеть еще раз. Последний раз. Прошу.

– Надолго?

– Может, на несколько недель... Не знаю, Отто. Правда, не знаю.

Несколько недель? А может, больше? Может, месяцев? А я? Разве я не скучаю по Аргентине? Если она меня любит, как всегда говорила, то почему хочет уехать? Почему оставляет меня одну с отцом?

– Мне не хватает здесь воздуха. Я задыхаюсь, Отто. Разве ты не понимаешь? Прошу.

– Нет. Не понимаю. Я уже ничего не понимаю. Задыхаешься? Думаешь, я здесь не задыхаюсь? Думаешь, меня не

тошнит, когда я вижу в клинике старых нацистов? Шеллинга и его подельников, расширявших шрамы на лице конскими волосами?

Все замерло.

– Хорошо, – сказал он.

– Ты сделаешь это для меня?

Я слушала, затаив дыхание. Почему он не отвечал? Я не хотела, чтобы сюда переезжала Мопп и брала на себя обязанности матери. Но что я могла сделать? Я уже не была ребенком, но пока оставалась маленькой женщиной. Я подумала об Ушке. Подруга словно возникла передо мной. Прямые светлые волосы падали ей на лицо. Оставалось надеяться, что она тоже не убежит.

Через несколько дней я проснулась в нашей маленькой квартирке. Еще в полусне, как обычно, отправилась искать мать. Она исчезла. Сначала я подумала, она ушла гулять, хотя она почти никогда так не делала. Она не любила двигаться. Не ходила гулять, сидела весь день в квартире и смотрела в окно.

– Мама?

Я побежала в спальню. Там ее тоже не оказалось. Дверцы шкафа были распахнуты настежь.

Вечером вернулся отец. Я стояла в дверях, словно пытаюсь преградить ему путь.

– Где мама?

Он посмотрел на меня рассеянно, будто не понимая во-

проса.

– Она... Но мы же тебе сказали... Ей нужно еще раз вернуться в Буэнос-Айрес.

– В Буэнос-Айрес, но?..

Я задрожала, из глаз потекли слезы.

– Не грусти, она скоро вернется.

Я не грустила, а злилась, злилась от бессилия, гнев охватил мое тело и не желал отпускать, и неважно, сколь крепко меня обнимал отец. Я не знала, когда вернется мать и можно ли вообще на это рассчитывать. Действительно ли она поехала в Буэнос-Айрес или все же в Париж? Я не знала, подозревает ли что-нибудь отец и что ему вообще известно. Знаком ли он с этим Ханнесом? Знает ли что-нибудь про этот странный Гюрс? Почему он ничего не сделал? Почему не похож на Джима из сериала, который заботится о членах своей семьи с улыбкой на лице?

На следующее утро за завтраком я села на свое привычное место. И молча наблюдала за движениями отца. Его мысли где-то блуждали. Но где бы они ни были, он чувствовал себя плохо, я видела, он растерян. Он стоял передо мной, словно в мечтах. Если я помещала людей и предметы в дымку грез, мне становилось легче их понимать. Все лишнее растворялось в тумане, и вещи выглядели отчетливее. Мне по-прежнему было трудно произносить слово «папа». За годы ожидания не прошло ни одного дня, чтобы я об этом не мечтала. В моих фантазиях он всегда был рядом, когда я в этом

нуждалась. Его защитная сила росла вместе с моей тоской, она проникала в его мускулы и делала его сильнее любого другого отца. Вновь и вновь я представляла, как произнесу это слово. Я знала: он в России. И больше ничего. В то время письма часто не доходили до адресата, это считалось нормой. Откуда еще он мог про меня узнать? Странная история: где-то в мире, очень далеко, живут его жена и дочь, которую он никогда не видел и не может себе представить.

– Почему мы не можем остаться одни?

– Так не пойдет.

– Но почему?

– Ада...

Наконец он на меня посмотрел.

– Кто тогда будет о тебе заботиться после школы? Готовить для тебя? И для меня?

– Ты.

– Мужчины не умеют готовить.

Он рассмеялся.

– Но мама говорит, ты можешь все.

– В плане домашнего хозяйства у меня обе руки левые, – смеялся он.

– Ты врешь, ты врешь! – закричала я. – Мама сказала, у тебя золотые руки, исцеляющие руки, и...

– Но только в клинике. Дома у меня обе левые.

Он перестал смеяться, намазал маслом кусок хлеба, положил сверху колбасу, быстрым движением разрезал бутер-

брод на две половины, сложил их и завернул в бумагу. Потом положил перекус в мой рюкзак. Вытер со стола крошки. Какая там неуклюжесть.

– Почему мы не можем жить вдвоем? Только ты и я.

Он посмотрел на меня непонимающе.

Неразлучники

Первая неделя пролетела быстро. По утрам я ходила в школу. Когда возвращалась, папа пытался сварганить что-нибудь съедобное. Словно в доказательство собственной непригодности, он провалил первую же попытку приготовить яичницу. После обеда он ложился вздремнуть. С этого момента я была предоставлена самой себе, пока вечером он не возвращался из клиники.

Как только он выходил за порог, я договаривалась о встрече с Ушкой. Я ужасно стыдилась, что меня бросила мать, и сочинила историю.

- Она уехала в Мадрид, к своей матери.
- Надолго?
- Понятия не имею. У нее какие-то дела. – Я попыталась перевести тему. – Твоя бабушка живет в Берлине?
- Нет, она погибла в войну, – сказала Ушка.
- Мою приговорили к смертной казни.
- Здесь, в Берлине?
- Нет, думаю, в Испании. Она была ана... Анархом, что-то такое.
- Анархисткой?
- Думаю, да. Но больше я ничего не знаю, – поспешила добавить я, опасаясь дальнейших расспросов. – У вас тоже никто об этом не говорит?

– Иногда, но не часто. Спрашивать тоже не хочется.

– Да, или?.. Просто это так... Странно.

Мы молча уставились перед собой.

– Знаешь Брижит Бардо? – спросила Ушка.

– Нет.

– Французская актриса. Безумно классная и красивая.

– Да?

– Фильмов с ней я еще не смотрела, но видела фото в журналах.

– И? – спросила я, радуясь смене темы.

– Француженки совсем другие. Изящнее. Женственнее. Не такие...

– Храбрые?

Ушка глянула на меня с удивлением.

– Храбрые? Что ты имеешь в виду?

– Не знаю. Когда я приехала из Буэнос-Айреса, подумала, что все здесь такие... ну, строгие. А потом мама сказала, что на войне им пришлось быть очень храбрыми... И сильными.

– Храбрыми и сильными, хм...

Ушка смотрела перед собой.

– Твоя мама храбрая и сильная?

– Не знаю. Мы же приехали из Аргентины. Там же все было иначе. Но... Да, ей пришлось все делать самой. Отца там не было.

Каждый раз, когда я упоминала об отце, я замечала, что Ушка грустнеет. Я прикусила губу. Глупая корова, зачем его

упоминать? Я попыталась сменить тему.

– В них точно что-то есть. Стил. Это *je ne sais quoi*.

Ушка вдруг на меня посмотрела.

– В тебе тоже оно есть.

– Что?

– Это *не знаю что*.

Мы рассмеялись.

– *Je ne sais quoi*. Не знаю что, – повторила Ушка.

– Раньше я могла так же дурачиться с мамой. Но с тех пор как мы переехали сюда, это почему-то перестало работать, – сказала я.

Ушка выпрямила спину.

– Сильные и храбрые.

Мы снова приснули.

– Сильные...

– Храбрые...

– Послушные...

– И скучные...

Мы упали друг другу в объятия.

– Нееет.

– Мы такими быть не хотим.

– Мы такими не станем. – Ушка взяла меня за плечи и пристально посмотрела в глаза. – Поклянись, – велела она.

Я торжественно подняла правую руку.

– Клянусь.

– Мы будем как Брижит Бардо и Жанна Моро или Катрин

Денёв, знаешь?

Я покачала головой.

– Да ты ничего не знаешь. В мире существуют не только Гете и Бетховен.

– Гете и кто?

Мы снова затряслись от хохота.

– «Переверни Бетховена»¹⁰ Чака Берри, знаешь? – допытывалась она.

– Не-а.

– Элвис Пресли, «Тюремный рок»?¹¹

– Нее.

– «Твое обманчивое сердце»¹² Хэнка Уильямса, «Рок круглые сутки»¹³ Билла Хейли, «Тутти Фрутти»¹⁴ Литл Ричарда, Джерри Ли Льюиса, «The Platters», Джонни Кэша?

– Никого не знаю.

– Ну хоть Петера Александера?

– Его постоянно слушает мой двоюродный брат.

– Позорные родственники? Ты их от меня скрывала, признай.

Ушка устранила пробелы в моем образовании, а я познакомила ее с миром аргентинского танго и гаучо. На переме-

¹⁰ «Roll Over Beethoven» (англ.).

¹¹ «Jailhouse Rock» (англ.).

¹² «Your Cheatin' Heart» (англ.).

¹³ «Rock around the Clock» (англ.).

¹⁴ «Tutti Frutti» (англ.).

нах мы вместе отрабатывали шаги в школьном дворе. Ушка довольно быстро взяла на себя ведущую роль – она была не только старше, но и выше меня. За нами начали пристально наблюдать. Поползли разговоры, подстрекаемые честолюбивой Беттиной с брекетами и широкой лягушачьей улыбкой. Думаю, именно она пустила слух, что мы считаем себя лучше других и к тому же влюблены друг в друга, что считалось позором. Но нам было плевать. Мы наслаждались особым статусом. В конце концов мы поклялись, что будем какими угодно, только не храбрыми, послушными и скучными. Но мы были по-своему сильны. Легкий флер нечестивости оказался даже на пользу. Мальчики с подозрением смотрели нам вслед, но делали это украдкой – нас все же слегка опасались. К тому же никто не хотел связываться ни с жердью, дочерью предателя родины, как говорили об Ушке, ни с иностранкой, чьи родители были во время войны неизвестно на какой стороне. Мы вызывали подозрения.

Время с Мопп

На второй неделе приехала Мопп. Она каждый день готовила нам еду, ходила за покупками, забирала грязное белье, следила, чтобы я делала уроки. Приготовив ужин, она исчезала до следующего утра. Так тянулся день, пока наконец мы не падали в объятия спасительной ночи. Каждый в своей комнате. Одиночество вдвоем. Отец был не слишком разговорчив и до отъезда моей матери, а теперь он окончательно замкнулся в своей раковине. Днем он спал, вечером читал. Я начала задаваться вопросом, не сожалеет ли он о созданной семье.

Я усердно училась в школе. Думала, может, его порадуют хорошие оценки. Но когда я показывала ему свои тетради, он лишь бросал беглый взгляд, хвалил меня – каждый раз одними и теми же словами, спрашивал, не нужна ли помощь, и возвращался к своим книгам, когда я гордо качала головой. Сегодня я думаю, что наши отношения были полны недопонимания.

Столь горькое положение сблизило меня с Мопп. Из чужого человека она постепенно превратилась в союзника, которому я доверяла иначе, чем Ушке. Через три недели я впервые заставила себя задать вопрос, который назревал во мне, как скрытое воспаление, с тех пор как уехала мать.

– Что мама делает в Аргентине?

– Думаю, хочет попрощаться, в последний раз, понимаешь?

– Но почему, мы ведь уже попрощались в прошлый раз?

Прощание. Я никогда не думала об этом. Последний раз. Но о чем речь? Или о ком? Я не могла вспомнить никаких близких друзей, по которым она могла бы скучать. Может, Мерседес и Герман? Нет. Они периодически переписывались. Я знала, потому что мне тоже всегда приходилось добавлять несколько строк. Я не понимала, зачем это нужно после всего случившегося, но мать сказала, мы им очень многим обязаны, и не в последнюю очередь аргентинским гражданством, которое мы никогда бы не получили без их поддержки. Меня это не слишком впечатлило – какая мне от него польза? Там я тоже была чужой, хоть и постепенно научилась с этим мириться. Я посмотрела на Мопп.

– Надеюсь, это не пустые отговорки.

Не знаю, было ли дело в моем серьезном лице или в интонациях, но Мопп вздрогнула, погладила меня по волосам и затряслась от сдавленного смеха.

– Ну ты и штучка, Ада, та еще штучка. С чего ты взяла?

– Не знаю.

Я несколько раз пожала плечами, не осмеливаясь делиться с ней своими тревогами.

– Как вы познакомились в Лейпциге? – спросила я вместо этого.

– Мы обе работали в больнице, куда она попала вскоре

после своего бегства из Франции.

– Какого бегства?

Мопп посмотрела на меня.

– Мама никогда тебе не рассказывала?

Я покачала головой.

– Возможно, тогда мне тоже не стоит...

– Пожалуйста.

– Хм...

Она снова искоса на меня посмотрела.

– Когда она приехала в Лейпциг, то была очень ослаблена.

В лагере Гюрс их почти не кормили.

Снова Гюрс.

– Что это?

– Что?

– Лагерь.

– Ну... вроде тюрьмы.

– Прямо с колючей проволокой и стенами?

– Думаю, без стен, но с колючей проволокой.

– Где?

– В Гюрсе. Это во Франции... В Пиренеях... Недалеко от Испании.

– Почему? Что она такого сделала?

– Ничего.

– Ничего? Но ведь за это не сажают в тюрьму. Нет, она должна была что-то сделать. Она преступница?

– Нет. Это только похоже на тюрьму. Лагерь, это... Тогда

были... Что же, в школе вам ничего не рассказывают?

Я снова покачала головой.

– Гм... Ну... Лагерь, в смысле такие лагеря... Были тогда созданы французским правительством... Господи, детка, это все очень сложно и не слишком приятно, и, честно говоря, я не знаю, правильно ли делаю, что тебе об этом рассказываю, твоя мама может меня отругать, понимаешь?

– Мы не обязаны ей рассказывать.

– Но это будет уже почти ложью...

– Нет, секретом. Нашим секретом. – Я умоляюще на нее посмотрела. – Я люблю секреты. У нас с моей подругой Ушкой тоже они есть. Например, она рассказала мне, что Гитлер убил ее отца, потому что тот пытался его убить.

– Гитлер?

– Да.

– Он пытался убить Гитлера?

Она посмотрела на меня, будто я сказала нечто совершенно абсурдное.

– А как его зовут, ну то есть...

– Никак не могу запомнить его фамилию, такая длинная, с «фон» и «цу»...

– Дворянская?

– Думаю, да...

– Он имеет отношение к 20 июля?

– Что это?

– Ну... История тоже непростая... Было несколько очень

храбрых людей, которые хотели убить Гитлера, пока он не завоевал... В общем, раньше... Тебе не рассказывали в школе про Клауса графа фон Штауффенберга?

– Графа фон что?

– Штауффенберга.

– Нет.

– Возможно, отец твоей подруги имел к нему отношение.

– Да, может.

– Ну, убийство, которое они так долго планировали, чтобы освободить мир от Гитлера, к сожалению, не удалось. Гитлер не пострадал. Ну, почти. А вот Штауффенберг и его сообщники были той же ночью расстреляны за государственную измену и покушение на убийство фюрера.

– Кто их расстрелял?

– Нацисты.

– За измену?

Мопп кивнула.

– Может, поэтому некоторые в школе называют Ушку дочерью предателя.

– Кто так говорит?

– Например, господин Хинц, наш учитель истории, и некоторые ученики.

– Поверить не могу. Учитель истории? Нет, Ада, они были отважными людьми и пожертвовали жизнями, пытаясь спасти Германию и всех нас от гибели.

– Но почему их тогда расстреляли?

– Потому... Потому что они хотели помочь таким, как твоя мама, помочь людям, которых отправляли в лагеря или даже убивали.

– Маму хотели убить?

– Знаешь, это просто ужасно... но... да.

– Мою маму?

Мне стало дурно.

– Но почему? Ты же сказала, она не сделала ничего плохого, значит, ее ведь нельзя наказывать? Нельзя же просто так взять и убить человека. Это грех. Смертный грех. Они не могли.

– Тем не менее.

С лица Мопп исчезло все веселье.

– Как же она тогда выбралась из того лагеря?

– Не знаю. Она никогда мне не рассказывала. Иногда мне кажется, она и сама не знает. Понимаешь, если человек не хочет о чем-то говорить, его желание нужно уважать. Возможно, ему требуется время.

– Вот почему никто об этом не говорит?

– Возможно. Знаешь, я никогда об этом не думала, но, возможно, ты права.

– Но если мама ничего не сделала, почему... В смысле, как тогда они могли ее запереть?

Мопп посмотрела мне в глаза.

– Твоя мама иудейка.

– Кто?

– Это было смертельно опасно. Они истребляли иудеев.

– Но я ведь католичка. И мама тоже.

– Предосторожность.

– Зачем?

– Чтобы с вами больше ничего подобного не случилось.

– Так мама правда иудейка?

– Да.

– А я? Кто я? Значит, я не католичка?

– И да, и нет.

– Иудейка и католичка... и аргентинка... и немка?

– Вроде того.

– Не понимаю.

– Да уж, понять непросто.

– Поэтому со мной никто не разговаривает?

– Возможно. А может, они боятся твоих вопросов.

– Почему это?

– Потому... Потому что у них нет ответов. Как и у меня.

Сегодня я понимаю, что Мопп в то время стала моим спасением. Моей опорой, ящиком жалоб и предложений, главным в жизни человеком. Когда она отпирала утром дверь квартиры, я уже успевала накрыть на стол. Ее тихое сопение, когда она поднимала свое круглое тело по лестнице или, задышавшись, убиралась в спальне, потому что отец вечно бросал все на пол прямо там, где стоял, стало моим любимым звуком. Оно дарило мне новую уверенность – уверенность, что завтра утром настанет новый день и я выдержу все, пока есть

такие люди, как Мопп. Люди, которые пережили совершенно другие вещи, в том числе – или особенно – потому, что никогда не жаловались и ничего не рассказывали, как Мопп. И при этом их молчание совершенно не казалось угрюмым. Годы спустя, когда я слегка небрежно спросила мать об их париках – было ли это знаком дружбы и не казалось ли немного дурацким, – та молча на меня посмотрела.

– Нет, – ответила она. – Во время войны Мопп изнасиловала толпа солдат.

Я пристыженно опустила глаза.

– После этого она потеряла все волосы. Все. И впредь, мое дорогое дитя, думай, прежде чем задавать глупые вопросы.

Тогда так было во многих семьях, да и в школе – вопросы задавали только глупцы. Я до сих пор поражаюсь, как можно рассказывать о массовом изнасиловании солдатами и при этом называть женские гениталии, вагину – я до сих пор с трудом произношу это слово – попой. В моем поколении сексуальность была областью самообучения: как говорил отец, на каждую кастрюльку в любом случае найдется своя крышечка.

– Мопп? – спросила я однажды, когда мать еще была в Буэнос-Айресе или Париже.

– Да?

– А мужчина?

Мопп удивленно подняла глаза.

– Какой мужчина?

– О котором вы недавно говорили...

– Когда?

– Ну, недавно, когда мы были у тебя в гостях и мне разрешили посмотреть телевизор.

Она нежно погладила меня по голове.

– Детка, не стоит подслушивать под чужой дверью.

Она надолго замолчала. Потом взяла меня за руку.

– Детка, ты втягиваешь меня в неприятности... Но ты смотришь таким взглядом, что смолчать было бы грехом.

Я подошла к ней. Она меня обняла. Ее тепло мягко и медленно переместилось ко мне.

– Знаю ли его я? Знаешь ли его ты?

– Да?

Она взяла меня за руку.

– Да.

– Он тогда приходил к нам? Еще когда мы жили с тобой?

Мама и я?

– Да.

– Тот, кто подбрасывал меня в воздух?

– Да.

– Но папа подарил мне велосипед.

– Твой папа – это твой папа. Папа только один.

– Даже если ты одновременно католичка и иудейка? Немка и аргентинка?

Мопп погладила меня по волосам.

– Ада, она просто хочет попрощаться. В последний раз.

Если это было прощание – неважно, в Буэнос-Айресе или Париже – прощание означало, что она вернется. Означало, что это время закончится. Католичка, иудейка, аргентинка или немка, я никогда больше не буду девочкой без семьи, и все пройдет, сколько бы оно ни длилось.

Тутти-Фрутти

Ушка не только была на два года старше меня, она еще и все знала. Каждого певца, каждое новое направление музыки, последние фильмы, актрис, исполнявших главные роли, и их привычки, она знала, кто на ком женат и у кого очередная интрижка, она читала молодежный журнал «Браво», но кроме того, была в курсе всех взрослых сплетен и событий на международной модной арене. Она хотела стать актрисой или моделью. И невероятно длинные ноги открывали ей оба пути. Но главное, она много знала о мальчиках. Сама эта мысль наполняла меня глубоким восхищением. Мне было всего одиннадцать, но я чувствовала, как меняется тело. Каждый вечер я стояла голая перед зеркалом. У меня увеличились соски. Мне страшно хотелось обсудить это с Ушкой, но я не решалась. На самом деле она была не менее застенчивой, чем я, но куда бы она ни пошла, ее окружала аура неприступности – защита, о которой я втайне мечтала. В ее тени я даже не замечала, как впервые начала пробуждать желание, безобидные поддразнивания – их подспудная агрессивность так меня раздражала, что я долго пыталась не обращать внимания, но однажды Ушка со мной внезапно об этом заговорила.

– Ты не замечаешь, как они шепчутся?

– Кто? Где?

– Ну, вон та компания.

Мы стояли в очереди перед любимым кафе-мороженым на бульваре Курфюрстендамм, возле станции Халензее. Мальчики казались странными. Никогда не понятно, что им нужно. Теперь они нарочито небрежно прислонились к стене напротив. Им было лет по десять-двенадцать. Из-за ухмылок они выглядели почти одинаково, и мне было сложно их отличать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.